

книга очерков

Владислав
Дорофеев



Ортодокс

Владислав Дорофеев
Ортодокс (сборник)

«Автор»

Дорофеев В. Ю.

Ортодокс (сборник) / В. Ю. Дорофеев — «Автор»,

«Ортодокс» – это сборник очерков, написанных за продолжительное время. Первый очерк, с которого начинается книга, «Принцесса „ДА“», – это рассказ о спасении двухлетней дочери, с которой отец оказывается в больнице, затем в ту же палату привозят старшую дочь героя. Удивительные подробности о больничном быте детской больницы. «Рука Бродского» – это, по сути, личные впечатления и оценка творчества Бродского, какие-то возникающие аллюзии в связи с судьбой Бродского и судьбой страны и героя. «Из России в Россию» – самый большой маршрут страны, «Владивосток-Москва», взгляд на страну из окна вагона, вполне будничные переживания и взаимоотношения в дороге, будничность в какой-то момент переплетается со сказкой, все это перемежается детальным описанием страны, которую пересекает герой вместе со своей семьей. «Мой батюшка Серафим» – это духовный опыт постижения православия. Несколько лет герой посещает Серафимо-Дивеевский монастырь в Нижегородской области, место, где когда-то отшельничал и трудился на благо людей святой Серафим Саровский, один из самых почитаемых православных святых в мире. При этом герой продолжает быть вписанным в свой профессиональный мир, но что-то или даже очень многое переосмысливается и меняется. «Школа ангелов» – это посещение Соловецких островов и монастыря. Рассказ о подчас невероятной истории и суровом быте монастырской жизни, восхищение перед физическими, а прежде всего духовными достижениями подвижников, жуткий период концлагерной реальности. С героем в этой поездке его дети. «Остров Валаам (ОВ)» – это посещение Валаамского монастыря на острове Валаам, пронзительно духовного места. Удивительная история монастыря, личные переживания, наблюдения за людьми, герою открывается новый мир, не похожий ни на что прежде. И вновь вместе с героем его дети. В очерке «Ортодокс», в частности, описана ситуация с началом вторжения в Дагестан со стороны Чечни и захватом заложников на Дубровке во время мюзикла «Норд-Оста», реакция обычных людей, сомнения и страхи, решительность и действие. На этих и других примерах герой пытается понять, как сочетается

нравственность, вера, мораль с хаосом, беспределом, глупостью и кошмаром обыденной жизни, как сделать так, чтобы нравственность из умозрительной категории перешла в разряд обыденной жизни и отношений.

© Дорофеев В. Ю.

© Автор

Содержание

Принцесса «Да»	7
Рука Бродского	21
Из России в Россию	30
Конец ознакомительного фрагмента.	45

Владислав Дорофеев

ОРТОДОКС

Сборник повестей и рассказов

Принцесса «Да»

Утро в больнице.

Моя маленькая дочь уже только тихо молчит.

Я смотрю в окно.

И молюсь.

«Господи помилуй нас. Господи помилуй. Нас. Господи. Помилуй. Нас».

За окном увлекаемый ветром снег. Снег стремительно несется параллельно земли, увлекая за собой наши взгляды и мечтания. Вновь и вновь облетая Землю, нарезая круги, возвращаясь к моему окну, мечтания превращаются в надежду моего сердца.

Ночью, в очередном коротком провале/забытии я придумал сказку про человека, который превращал в живое все мертвое, человека, который всю мертвую природу мог оживить. Только что осознал, что это не сказка – это Христос, наш Спаситель, Сын Божий.

Дочь моя уже даже не плачет. Она третьи сутки молчит. И медленно смотрит в стену или в себя.

А когда утром маленькая православная девочка (еврейский мацмел, замешанный на русских дрожжах) уже только тихо молчит, то причина ее молчания не столь и очевидна – это может быть память о семидесятилетнем вавилонском или двухсотлетнем татарском плене, или боль церковного раскола, или ужас семидесятилетнего большевизма, или расстрел последнего русского царя, или немой плач о двухтысячелетнем еврейском скитании, или печаль по разрушенному Храму и распятому Христу.

Если еще эта тихая печаль приправлена соусом больничного страдания, – а девочка двух с половиной лет вторые сутки лежит под капельницей, пятые сутки ничего не ест и почти не пьет по причине жесточайшего дисбактериоза (желудок отказывается переваривать даже воду), и десятые сутки находится в больнице, – тогда, тогда мы почти ничего не можем поделать, разве что посетовать на... Кого? Ну, тогда поблагодарить... За что? За невыносимые страдания, которые испытывает моя маленькая дочь, усыхая на глазах, потеряв за неделю пять килограммов из своих пятнадцати, изгибаясь всем своим уже почти невесомым тельцем от жестоких судорог в желудке, и от невозможности повернуть правую ручку с катетером в вене, и просто от страха перед этим жестоким и жестоким миром?

Да.

Пути Господни неисповедимы. Господь промыслил моей дочке страдания в самом начале ее пути, и заодно мне, в виде ощущения беспомощности.

Ну, нет! нет никакой беспомощности! – нет! Есть молитва и вера, и решительность, и любовь к маленькой Вере, Верушке-Петрушке.

Инфекционное отделение московской городской детской клинической больницы № 9 им. Сперанского. Я с Верой в палате, куда нас положили через два дня после выписки жены из больницы. Это совсем детское отделение, много детей до трех лет, которые лежат с матерями.

Женщины эти здесь неприглядны: не умыты, не причесаны, долго спят, в затрапезном ходят, канючат лекарства, ноют или выговаривают оставшихся дома детей и мужей по телефону на стене, в палатах у них бардак. Многие почти отвратительны внешне. Женщины в больнице затрапезны. Они переносят сюда дом. Они здесь, собственно, и не женщины, а «мамочки», «мамы». А кто не затрапезен, тот быстрее/скорее справляется со своими задачами. Но лишь при одном условии, что эта (не) затрапезность – не светская, а иная, т. е. «мать», но не «мамочка».

Кстати, меня нигде и никогда так часто не называли – «папа», «папочка», как здесь в больнице.

Больница – это не часть жизни.

Это именно жизнь, другая, параллельная реальность, но самостоятельная.

Больница – очень правильное место. Дает возможность сосредоточиться, и собраться, и выжить, и выздороветь.

Больничная демократия. Все едят одно. Монастырь тела.

Стерилизация – как основа, и смысл, и цель; стерилизация – как догма, и, как философия; стерилизация отношений.

Больничный язык. Здесь говорят – «оклизмить» – это когда надо сделать клизму, чтобы очистить кишечник. Оклизмить, – в широком смысле, – это значит, очиститься так, чтобы вместе с говном/грехами вышла грязь душевная и духовная, накопленная за тысячелетия и в последние времена.

У меня три страсти – творчество, жена, дети. И дьявол ударил по ним. Достает по всем направлениям, достает и давит: заболевают поочередно – Ася-Вера-жена-Аня-мама-отец-вновь Вера-теща-тесть-вновь Аня; враги на работе ополчились; и даже в больнице в виде безмозглых детей-ублюдков (как жесток мир детства – безжалостен и беспощаден, и циничен, и ужасен: детская больница – больная среда – детский кошмар), которые в соседней палате шумят очень поздно, что объективно ухудшает состояние Веры.

Нахлынули болезни и неприятности. Надо быть бдительнее и молитвеннее.

Враг уничтожает меня, пытаюсь меня сократить, пытаюсь так оградить свой мир.

Я сокращаю мир врага, уменьшаю этот мир – и враг пытается сократить, уничтожить меня.

Второго декабря двухтысячного года, в четверг, мою беременную жену отвезли в больницу, чтобы сохранить ребенка, которому пять недель, чтобы предотвратить выкидыш.

Я пел вслух, провожая жену: «Она справится. Она использует все возможности, какие у нее есть, чтобы сохранить жизнь ребенка и свою. Она вернется. Они вернутся».

И все две недели, что жена пролежала в больнице, – сохраняя нашего ребенка, у которого уже сердце бьется (нашему ребенку пять недель, и он пять миллиметров, – прибавляет по одному миллиметру в неделю; и у него бьется уже сердце, и он уже имеет признаки человеческого детеныша; жизнь человека начинается с сердца, – там душа; еще только через две недели, уже после возвращения жены из больницы, я почувствую ночью в ее животе – ребенка, новое твердое тело, упирается, надеется, живет), – я ничего не писал, потому что не мог, пребывая в напряжении, – как бы чего не пропустить, ибо у меня на руках была больная Вера. Был я в напряжении – было мне не до виртуального мира.

Через неделю после отправки жены в больницу, заболевает старшая дочка Аня: она ползала от боли в пояснице и спине по полу, не могла спать, сидеть, ходить – криком кричала от боли, – и ее с подозрением на пилонефрит (болезнь почек) увезли в больницу; а в больнице несколько дней не могли поставить диагноз, – оказался радикулит, обострение ее спинных проблем.

И все это время я ничего не мог писать, – как бы чего не упустить. Такого напряжения я еще не знал.

А все началось еще за две недели до отправки жены в больницу, когда вторая моя дочка Ася поранила родинку на лице, справа от носа, да так, что родинка кровоточила неделю – я возил ее по больницам, чтобы понять – что произошло, и ответить на вопрос – что может произойти. И еще параллельно у моей мамы в Николаеве случился гипертонический криз. И у отца начался очередной жесточайший запой.

Тяжело мне. Все рассыпается. Зачем так много детей, если ты не можешь всем дать полноценное развитие, уберечь от болезней! Вот пример – огромная семья моего отца, все пьянь, ублюдки, и неучи. А отцу не достало силы воли выбраться из своего семейного кошмара. Ибо не достало ему любви от рождения. И мне? А детям моим?

Я уже не боюсь стихии. Но не надо думать, что стихия ничего не может мне сделать. Стихию надо уничтожать! Стихию надо встречать во всеоружии. И по мере возможности уничтожать беспощадно и бесследно. Беспощадно. Беспощадно. И бесследно.

Ясно мне одно – изначально я оказался не готов к этим испытаниям. А сейчас? Не знаю. Возможно, ибо я стал понимать что-то лучше в себе, и в своих отношениях с миром моих близких и миром в целом.

Я вошел в декабрь, в Рождественский пост, в череду болезней детей и жены, еще живущим для себя, под себя.

Я неадекватен и в больнице.

Я геройствовал, я геройствовал, когда пришел в больницу с Верой. Я гордился собой, я пекся о себе. Меньше о Вере. Вот и не углядел, она угасает. Я кичился. Кичился драмой. Я будто хотел страдания, драмы. Боже! Как слаб и низок я.

Продержусь на любви. Любовью держится земля. Продержимся и мы.

Эти испытания – это проявление моей слабости. Будь я силен – этого не было бы. Я недостаточно умен, недостаточно терпелив, недостаточно терпим, недостаточно выдержан, склонен к самоговору, склонен к суетному порицанию, поспешен, суетен, самонадеян, зол, лжив, гневен, трусоват, изворотлив, фальшив, лукав, нерешителен, непоследователен.

Я был горделив поначалу, геройски все оценивал. Это глупо. Не мы управляем своей жизнью, если мы идем в царство Божьей славы.

Человек (относительно) управляет собой, лишь, если после него земного ничего нет – пусто, ровное место, небытие.

Человек не всегда причина своих бед, и испытаний, но часто именно человек – причина бед и испытаний.

Не часть ли бед и испытаний нынешних моих – от моего недомыслия, моей импульсивности и слабости? Очень похоже. Да.

Пора разозлиться. И выйти из этого состояния ступора, прежде всего индивидуального ступора.

Если это так, то одна из причин – недостаточное смирение, гордыня.

Прости мне, Господи! Мою горделивость и мое самомнение, и мое геройство!

Сил и ума – вот в чем я нуждаюсь.

Господи! Не оставь меня.

Все происходящее со мной, – это промысел Божий, это – вразумление, истинное и необратимое.

Геройство должно кончиться, и должна начаться жизнь. Лишь с окончанием геройства начинается жизнь.

Когда начались в моей семье все эти события – я поставил себя в центр событий, попытался мысленно воспроизвести модель солнечной системы, когда я – солнце, вокруг меня – семья, дети, пр.

Это – неверно. В корне, в принципе, светски, религиозно, бытово.

Мы все – спутники Бога. И это еще честь – стать спутником Бога. Мы все – частицы мира, производимого Богом. И Бог – центр этого мира, точнее, Дух Святой, производящий этот мир по воле Бога Отца. А Бог – вне, внутри, всюду и везде. И этот мир – и есть часть Бога. И я – часть части. И я никак не могу быть в центре. Если же я – как Бог, то и тогда я не центр, и тогда я – вне и внутри, всюду и везде.

Т.е. и как человек, и как Бог, я не могу быть в центре какого-либо мира, ни концептуально, ни практически. Теоретически – да. Но только когда этого требует человеческая забота о ближних ли.

За окном шарашит снег, и мы, кажется, еще далеки от выздоровления.

Господи!

Хватило бы на все сил, смирения, терпения, и ума. Господи! Дай мне ума! И мудрости! Не оставь меня в трудах моих. Никогда!

В какой-то момент я понял, что сил больше нет. И я вспомнил, как жена во время родов отключила свой инстинкт самосохранения, чтобы родить Веру. И родила. И все.

И я вновь восстал.

Но одно очевидно. Сейчас мне не до литературы. Сейчас мне надо спасать детей.

Дети мои лучше и терпимее меня.

Я перед ними худосочен и привередлив. Я перед ними почти тщедушен. Они сильнее меня и лучше, может быть, даже мужественнее.

А все люди вокруг меня все делают медленно, слишком медленно, очень медленно. А мне нужно спасать детей.

Две бригады сестер во главе с врачом больше часа ковыряли ручки Веры, не могли попасть в вену. Вера истощилась, иссохла, вены сузились, кровь обезвожилась, и нельзя было попасть в такую маленькую вену. День и Вера угасали. Уходили?

Я начал ее отпаивать, с помощью пятимиллилитрового шприца, которым я вливал ей в рот попеременно воду и регидрон (солененькая водичка), вливал ей жизнь. Отпаивая. И с каждой каплей, вены, маленькие вены Веры расширялись, наполнялись жизнью.

Из ложечки выпаивать Веру – это требует времени. Устал.

Глаза смыкаются. Хочется даже и не спать. А забыться.

И на следующее утро лучшая необъятная медицинская сестра больницы ввела в вену Веры на правой руке иглу, следом插вила катетер для вливания лекарств.

И затем положили мою Веру под капельницу на два дня – один день и второй день.

Я в дичайшем напряжении. К концу первого дня капельницы привезли в больницу мою дочку Аню с похожим диагнозом, и положили в нашу палату.

Такие повороты судьбы. Аня вышла из предыдущей больницы 19 декабря, а уже 21 декабря, оказалась в следующей больнице, в нашей палате.

Ни в сказке сказать, и ни пером описать – я в палате больничной выхаживаю двух своих дочерей – Анну и Веру, старшую и младшую (на конец 2000 года). И это уже никогда в жизни не повторится. И это врежется в мою память навсегда – Вера в хромированной кровати в углу, Аня на большой белой кровати у окна, я замыкаю острым углом прямоугольный треугольник. Дети на одном катете; Аня – это прямой угол, из катетов верхний – верхний острый, вершина треугольника, сочетавая катет и гипотенузу; я – нижний острый, сочетавая нижний катет – основание – и гипотенузу, – со старшей дочерью общаясь по катету, с младшей дочкой по гипотенузе.

Дети мои спят, а время течет с конца пера в страницу. Время не кончается. Время продолжается.

Тихо. Больница спит. Ночью, даже болезни уходят куда-то, давая детям, взрослым передышку. Давая надежду.

Моя старшая четырнадцатилетняя дочка Аня нуждается в источнике вдохновения, в источнике любви, в источнике восстановления сил; пока таких источников мы нашли семь:

- папа,
- сон,
- еда,
- церковь,
- книги,
- мама,
- Ася,
- Вера.

Это все называется одним словом – «любовь».

Главное, в чем нуждается Аня, – это любовь.

Любовь – это главный и единственный источник ее вдохновения, ее жизненных сил, оживления.

А и Вера нуждается в единственном – любви. И все мои дети – Анна, Анастасия, Вера. И по новой. И в любом порядке. Все мои дочери нуждаются в любви, как никто другой.

Больница не кончается.

Но враг сдается.

Враг глуп и прямолинеен. Это лишь он считает, что он извротлив, он – глуп.

Болезнь приобретает в какой-то момент признаки живого существа, мерзкого и злого, которое намерено отнять, до времени отнять у наших детей жизнь и/или здоровье.

Мерзкие демоны мглы.

«Ненавижу!» – кричу я, сотрясая душу. – «Ненавижу!» – И почти вижу этого врага, мелкого, гадкого зверя, вошедшего в моего ребенка.

Вера изгибается от судорог в желудке, маленькое тельце не принимает даже воду уже несколько суток подряд. Она закатывает глаза и вопит, содрогаясь всем телом.

Я начинаю кричать, и не слышу свой крик, – «Борись! Борись с болезнью!»

А она крутит глазами, сипит, синеет, пучит живот и вновь орет изо всех своих последних сил. А потом успокаивается – так нехорошо, так опасно, и закатывает глаза, и страшно молчит, многие часы – один, второй и третий день молчит, уставившись в себя или в стенку. Чтобы затем очнуться среди ночи с криком.

«Папа! Болит головка!»

«Где?»

«Здесь». – Показывая ручонками на заднюю часть черепа и темя.

И вновь я к доктору с симпатичным лицом и милой задницей. Она уже уснула в дальнем углу огромной комнаты под ворохом чего-то белого на диванчике. Я иду к ней молча, может быть, пугая ее, я иду и понимаю, что она уже не спит, и напряженно смотрит мне навстречу/на меня/в меня и молчит.

«Что вы хотите?»

«Голова! Она жалуется на голову!» – И бегом назад.

Завтра выяснится, что у Веры подскочило внутричерепное давление. И это свидетельствует о ее высокой изначально интеллектуальной потенции, но это все в будущем.

А сейчас ее надо спасать.

И милая задница спасает мою дочь, влив в нее ложку «панатола».

«Борись!» – Я кричу, и ходуном ходит земля.

«Скажи болезни, – уходи! Скажи – уходи!»

Но демон противоречия еще силен, и Вера отвечает: «Не уходи!»

«Уходи! Уходи! Скажи болезни – уходи!» – Кричу я, разрывая ночь.

«Не уходи.» – Тот же безвольный и отсутствующий ответ.

Наконец, после десятков моих просьб, срывающихся в крик, – «Уходи! Скажи болезни – уходи!», – интуиция подсказывает, и я выкрикиваю: «Уходи! Уходи! Уходи! Не уходи!»

И бес ловится, заведенно и вопреки Вера отвечает, – «Уходи».

Все. Мы победили врага. Враг туп. Враг овладел чувствами ребенка, его телом, но не мозгом.

А мне очень важно, чтобы Вера сказала это слово, – «Уходи»!

И она говорит. Всего раз. Но этого довольно.

И вот среди ночи: «Папа, дай чего-нибудь?» – Фраза, произнесенная с чувством и на выдохе – сладостная музыка небес.

Сладостный сон. Сладостный звук. Впервые за неделю она попросила есть. Сама.

Дочь хочет есть! Слава Богу!

И вот первые несколько ложек кефира. Несколько минут. Полчаса. Не вырвало. Вера выздоравливает. Желудок вновь принимает еду. Жизнь осознана наново. Слава Богу.

Еще через некоторое время: «Папа, дай сушку!»

Лишив потребности есть – дьявол хотел ребенка убить до времени.

Мы победили. Да. С Божьей помощью.

Все эти дни сверлила мысль: «Неужели, придется кричать шепотом: Она уходит! Уходит! Сделайте же что-нибудь!»

Не пришлось на сей раз. Слава Богу!

Таинственный демиург, вершащий мою жизнь и здоровье в соответствии с неизвестными мне законами и установлениями. И результат его решений и действий – вот он – Вера выздоравливает.

Дети мои, я вас люблю, пуще жизни. Живите достойно.

Работа моя по спасению Веры почти завершилась. Вслед и Аня выкарабкалась вполне благополучно.

И, может быть, эта работа – и хорошо бы! – никогда не повторится.

Все на ниточке.

Это все происходящее – нам предостережение. Это не от нашей силы, но от нашей слабости. Исключительно. Мы не праведно и не истинно живем. Не так живем. Мы еще не знаем, что такое праведность, настоящая, без слов и споров.

Устоявшиеся отношения, здоровье, благополучие, перспективы – все в руках Господа. И забыв о том, мы забываем о назначении и смысле человеческой жизни.

Все на ниточке, которая рвется дуновением, легким колебанием. И нет ничего, кроме ниточки веры и любви, что соединяет нашу жизнь с этим светом и близкими и дает нам право на воспроизводство чуда – новой жизни.

Верой и любовью держится земля. Продержимся и мы.

Другим уже я выхожу из Рождественского поста, изменившимся. Я продолжаю жить и делать все для себя. Но я теперь яснее (нежели прежде) чувствую невозможность такой своей прежней жизни.

Больница манит, тянет, затягивает, увлекает и притягивает. И нет ничего привлекательнее больницы. Ее дискретные величины недостижимыми кажутся, кажутся; но это лишь видимость, это лишь кажется. Впрочем, впрочем. Больные – это разве люди? Здание – разве здание? Кровать – разве кровать? Простыни белые, разве белые простыни?

Лишь белые тени сестер мелькают в черных ночных коридорах. Тени наизнанку. Богова работа. Тени наоборот. Больница неисчерпаема. Благополучие белого цвета покоряет и манит. Не с чем сравнить белый цвет. Не с чем сравнить белый цвет. Не с чем сравнить белый цвет. И не надо ни с чем сравнивать. Нет в том нужды. Никакой. Да и надежда невелика, – что отыщется еще какое-то подобие, могущее нас устроить. Нет.

Солнце больницы светит в зените. Солнце больницы яркое. А кажется приглушенным маревом боли, что витает меж землей и небом, и в нем теряется ли человек-больной, которому нет названия?

В жизни многих людей нет эстетического начала. Но лишь эстетическое определение дает истинный комфорт в телесной жизни. Больница – это эстетическое начало. Не функциональное, а истинное эстетическое чувство, эстетическое начало жизни.

Больница никогда не заканчивается и не начинается, просто потому-то больница не имеет ни начала и ни конца. Больница – всегда. Нет, это не так в жизни человека. Больница начинается родами, кончается смертью. Больница – это и есть жизнь, беспредельная и необъяснимая. А не часть чего-то, будучи какой-то. Больница – не часть жизни. Скорее, обыденная человеческая жизнь – это часть больницы. Ибо человек – это трагедия необъяснимого слова, которое имеет телесное выражение лишь некоторое время; раз и навсегда произнесенное слово

уже не может завершиться. Действия этого слова – навсегда. Действие этого слова вечно, не имеет конца, ибо и начало его не проходило, оно лишь когда-то случилось. И так и длится. Длится слово, длится, не заканчивается, как и больница. Человек рождается в больнице, человек и умирает в больнице. Больница ждет человека тихо, ничего не требуя, просто так, ждет, и дождется.

Больница для человека начинается в родах, и заканчивается палатой с зашторенными окнами, сиделкой за дверью, твердой подушкой, головной болью, восхождением и возгонкой духа, мертвой тишиной и остановившимися часами вслед за смертью сердца.

Роды – это функциональная эстетика. И это чудо. Не будем забывать и о чуде.

К слову.

Смерть начинается с момента появления виртуальной жизни. И эта виртуальная жизнь постепенно вытесняет реальную. И уже когда остается лишь виртуальная жизнь, человек делает шаг – и оставляет реальную жизнь, и переходит в виртуальную. И умирает. Вот так наступает смерть. Смерть – это не результат. Смерть – это процесс. По степени вовлеченности человека в виртуальную жизнь можно определить близость человека от смерти. Это бы так и было всегда, без исключений, когда бы не Господь порой вмешивался в ход вещей.

Смерть – это поражение в правах?

А жизнь?

А болезнь – это поражение в правах?

Да! Или нет?

Нет! Потому как право, которое дается человеку от рождения, это – право на смерть. И это одно из немногих прав, которое у человека никто отнять не может. Разве Бог. И болезнь только усиливает возможность человека воспользоваться – как можно раньше – правом на смерть. Поэтому болезнь – это как раз прямой, самый прямой путь к осуществлению человеком своей цели, – смерти.

Больница требует недюжинного здоровья. Ибо, вылечивая что-то одно, чем-то другим расплачиваемся, ибо больница выставляет счет – и требует оплаты; пока не оплатишь – не выпускает. Однажды придя в больницу, уже нельзя расстаться с больницей, ибо это – наркотик, к которому привыкаешь навсегда.

Всякий доктор осознает, что он здесь спасает людей. Каждый доктор – демиург. Это главное здесь.

Врач – как священник. С ним не спорят. Как перед священником разворачивается история души, так перед врачом разворачивается история болезни тела.

У священника нагрудный крест – отличительный знак.

Так у врача – фонендоскоп/стетоскоп на шее, свисает на грудь отличительным знаком, признаком врача, только врача. Потому что врачу эта резиновая трубка – с пластмассовыми черными наконечниками для ушей с одной стороны и металлическим круглым подобием уха на другом – также необходима, как и священнику крест.

Это в обоих случаях инструмент практический.

Врач и священник – они оба слушают сердце, внутреннее состояние человека.

Больница от Бога.

Оттуда и выражение: врач от Бога. Это означает, что врач этот/конкретный/данный – совершенно вписался, совершенно овладел инструментарием.

Несмотря на обилие лекарств, главным остаются умение и мастерство врача. Ибо, чем больше лекарственных и технических средств, тем гроже опасность причинения вреда от неверного лечения в результате неправильного диагноза.

Лекарства здесь воспринимаются уже магически, как продолжение душевных движений врача!

Магический образ врача/женщины в больнице. Они все в белых халатах и черных колготках.

Эстетическое чувство. Мило. Милые. Без любви, участия и сопереживания невозможно работать врачом. Ибо врачи – это мы.

В больнице главные действующие лица – не больница, а врачи. Больница создана для врачей, а не для больных. Больные для больницы – это материал, это живая плоть, ибо мертвой плотью занимается земля. Больница и земля – сродни. Больница готовит больного для земли, куда и отправляет больного, когда ему нечем расплачиваться по счетам. Иного не дано. Болезнь лечится всегда за счет больного.

Удивительное дело. Больница еще предполагает и родство душ – больного и врача, ибо врач – это завтрашний или вчерашний больной, соответственно и больной.

Поэтому главный герой – даже не врач, а, собственно, больница: эти обшарпанные стены, кровати с клеенчатыми матрацами, ряды облупленных горшков и ведер с номерами палат, ночная лампа над щекой сестры, кровавые повязки в ведре, засранные пеленки в коробе для грязного белья, пресная и скудная еда, холодный чай в кастрюльке и толстая санитарка, настраивающая капельницу возрастом с паровоз, запах хлорамина, и крики больных, и белые халаты; белые халаты много и всегда, всегда и везде – в Москве, в Лондоне, в Шанхае, в Браззавиле, всюду, где в больницах лечат людей, отважных пионеров смерти.

Главное и единственное действующее лицо – больница, с ее истекающими (или не истекающими) кранами, бутылочками с кипяченой водой, толстыми или тонкими надчеловечески терпимыми и часто добрыми сестрами, и ночным поцелуем врача, чистым и благодарственным, потому что он спас твоего ребенка. Спас вовремя данным лекарством, ясным желанием помочь, твердой работой ума и искренним сердцем. Для меня этот ему поцелуй – вершина профессии, для меня – это победа над больницей.

Всякий больной, который выходит из больницы живым и здоровым – победил. Значит, больницу.

Такое случается часто, значительно чаще, чем наоборот.

Но и каждый раз больница делает притворную морду радости, всякий раз испытывая противоположные чувства, раздражения и злости от еще одной упущенной победы. И лишь ряды ночных горшков позванивают в бессильной, но осознанной злости.

Можно сказать: больничным экземпляром, и это не будет преувеличением. Да. Это будет лишь малой правдой. Потому как большую правду знает только больница – огромный, беспольный, всеохватный, наднациональный, надчеловеческий и безграничный организм.

Больница не требует к себе уважения, она и есть само уважение.

Больница не нуждается в заботе, она и есть забота.

Больница не нуждается ни в чем, она и есть все.

Больница не нуждается в дополнениях, изменениях и совершенствовании, ибо больница и есть само совершенство, поскольку, как и всякое совершенное явление, больница имеет ясную и очевидную историю, завершенную и даже совершенную.

Больница – гигантский конвейер по восстановлению тел, и повреждений телесных, и исправлению уродства. И Бог здесь есть. Врачи здорово это чувствуют, порой не понимая. Того.

Больница собирает свои жертвы.

Почему больница призвана исправлять телесную оболочку?

Что в больнице есть такого, что вынуждает людей служить больнице, служить функции спасения оболочки? И для чего нужно это спасение?

Но это и есть главный вопрос!

И никакой иной вопрос невозможен до тех пор, пока мы не ответим на вопрос – почему больница призвана спасать человеческую оболочку?!

Спасать затем, чтобы носитель, хозяин оболочки, мог завершить земные дела.

Больница – это очевидно Божье дело.

Больница – это передышка на земном пути, это – возможность промыслить себя и свое тело, и обрести новые силы на то, чтобы обрести новые силы и возможности на пути к земной цели.

Больница настраивает наш земной инструмент.

Здесь людей вытаскивают за уши с того света, на этот свет.

Жизнь человеческая, земная жизнь человека подвешена на ниточке, и даже не на ниточке, а на тончайшем волоске. И волосок этот не в человеческой руке. А в надчеловеческой руке.

Ничтожная грань отделяет человека от смерти. Такой грани практически и нет.

Больница затягивает. Посильнее монастыря.

Ибо больница лечит телесное, что ближе нам, по привычке.

С духовным же знакомимся долгое время лишь сердцем, и лишь спустя длительное время осознаем. Потому привычки телесные сильнее.

Если я – Иов, то я попал по назначению. Больница смиряет и учит терпению.

В невероятных нищенских условиях спасают здесь народ, людей, их тела и продляют земную жизнь (до половины) для душ, многих тысяч, миллионов душ, телесная оболочка которых повреждена. Ведь чаще именно в результате действия душ и мозга – тело страдает, видоизменяется, болит.

После первой недели в больнице больница начинает раздражать, причем это происходит/наваливает внезапно, обрывно – медлительность, неорганизованность, непрофессионализм врачей и сестер, по большей части слабой квалификации, и уж точно не самой высокой сноровки и еще меньшего часто ума и знаний. И единственно, что их оправдывает и единит – это служение больнице, которая часть Божественного устройства на земле.

Больница – это женское царство.

Больница – прежде всего под мать. И дело не в надписях на дверях – «туалет для матерей», «буфет для матерей», «что-то еще для матерей».

Дело в самом устройстве больничной жизни, в организации ее и ритме, последовательности и порядках.

Я поймал стороннее ощущение ревности, – совсем не обнаруживаемой внешне, явно, в действиях или словах, – со стороны женского больничного сообщества, меньше со стороны медперсонала, в полной мере от «мамочек», ревности простой и грубой: мол, получается, что он/отец/мужчина может, может не хуже женщины ухаживать за больным ребенком.

Да. Могу! Не хуже. Может и лучше.

Но я испытываю уже не усталость – а это скорее чувство прострации.

Закрываю глаза и сразу погружаюсь в видения и образы. Картинки теснятся и толкаются. И нет на них управы. Кроме воли и характера, и цели жизненной!

Тени прошлого бродят по больничным коридорам. И это не аллегория.

Остановись на секунду, и тоска стальными тисками сдавливает сердце, и хочется выть и плакать. Но даже и сил на это нет при такой тоске.

Единственный способ превозмочь тоску – жить секундой, мгновением, лишь реагировать на происходящее, только решать, только делать, только в настоящем времени и никакого прошлого, никакого будущего – только сейчас и только сегодня.

Это основной принцип, условие, закон больницы.

Во время болезни ни в чем нетелесном нельзя себе отказывать, во всем телесном – надо.

Болезнь (трудная, печальная, больная) – это всегда напоминание о том, что человек – создание бренное; и основание человека, его энергия, жизненные силы – не в руках человеческих, а в руках неизмеримых и неизведанных.

Болезнь – напоминание о том, что человек не должен забыть, что его жизнь не принадлежит человеку. А лишь дана ему во временное использование. И болезнь в этом случае – это еще одно благо от Бога.

Болезнь детей – это напоминание и для родителей. Вразумление. Чтобы понять ребенка своего, надо вспоить ребенка из ложечки. Во время болезни.

Болезнь не имеет границ – начала-конца, болезнь не питает любви или ненависти, болезнь всегда над человеком.

Больница надоедает. И более – заболевает человека, не прощая человеку слабости.

Болезнь требует смирения. И болезнь – это не всегда зло, как, собственно, и смерть – это не всегда исчезновение.

Дать хоть понадеяться. Кричат многие. И получают. Надеждой живы. И любовью. И молитвой.

Внемолитвенность наказуема. Всегда. Особливо перед и во время поста. Хотел, и не поехал в Лавру перед Рождественским постом; Лена не пошла перед самым постом причащаться и исповедаться; с приездом бабушки немецкой мы не молимся перед едой своей и Веркиной; сменившая меня в больнице безбожная бабушка немецкая из-за безбожия своего и самонадеянности не уберегла Веру, которой становилось хуже. Ибо Вера – новый человек, не ветхий. И Вере уже недостаточно только закона, ей нужна молитва, изливающая на грешную землю истину и благодать. А нет молитвы – нет человека. Вот без молитвы Вера и тает на глазах. Нет молитвы – нет человека.

Господь все дает просящим.

И вот Вера пошла. Не в первый день после окончания болезни. В первый день она не может ступить ни шагу. Она разучилась ходить. Ей предстоит научиться ходить. На второй лишь день она сделает несколько шагов. Еще пока за ручку. Ее еще качает. Но она уже ходит.

Она училась ходить три дня.

Она научится всему остальному. Для этого понадобится время. Хорошо. Мы все сделаем.

Сегодня, двадцать пятого декабря, в день выхода из больницы, в самые последние больничные часы, я обнаружил, что Вера забыла имена родителей, сестер и свое, и даже свой возраст.

И тогда я нарисовал ей ее мир на белом листе бумаги формата А4.

Наш ребенок умен от рождения. Очень сообразителен, терпелив и системен. И, может быть, не слаб душевно.

А и во время болезни/в болезни ребенок растет вглубь. В ребенке происходит качественное изменение, после чего ребенок однажды просыпается другим человеком.

Вера поумнела, очевидно, и деятельно за эти полторы недели с 14 по 25 декабря, в больнице.

Вера отработала новое качество своей жизни. Может быть, дар получила от Господа. Дар дается только через страдания. Вера много отстрадала и потрудились изрядно. Может быть, она – вторая Эсфирь, вторая княгиня Ольга, первая Вера.

Она сейчас живет после болезни в новой системе координат. И пока не знает, что делать со старым миром, который уже менее значителен, нежели ее новый мир. Но в этом старом мире – папа, мама, игрушки, сестры, она сама. Что делать?

Она на распутье: а) вернуться назад, б) взять с собой старый мир.

Надо ей помочь пойти по пути – «б».

Вера сделалась пронизательнее, пронзительнее, глубже, пристальнее, больше видит оттенков. Ее новый мир (ее новый взгляд) больше, масштабнее и тоньше. Надо помочь ей сопрячь новый мир со старым.

Вера стала «принцессой „нет“». В больнице. В результате перенесенных мучений.

Она все отвергает, но не потому, что отрицает, а потому что пересматривает.

У Веры после болезни открылось новое качество ума.

«Нет» – она говорит старому миру, который ее не защитил от боли.

Надо помочь ей вытащить все доброе из старого мира и втащить ее самое в новый мир. Воспользовавшись удивительным свойством маленького ребенка (до пяти лет), – подобно античному философу: если ухватит мысль или цель, то уж не отпустит, пока не достигнет этой цели, или мысли, – помочь ей вновь стать – «принцессой „да“».

В первый же день после больницы, вечером того же дня (двадцать пятого декабря 2000 года), я принес домой елку. Неожиданно. Удивительно, что, когда меня не было дома, жена пообещала Вере, что – «папа принесет елку, такую же, как Муми-папа из сказки про муми-троллей».

Вера лишь недоверчиво покосилась на маму.

И вдруг я вношу елку. Ту самую, которая на сказочной картинке. Настоящую.

А ночью во сне, – первой же ночью в родной разноцветной домашней кровати, – к Вере прилетел сказочный ангел с крыльями. И сел на ладонь. Ангел был совсем маленьким, он был простоволос и курнос. И он как бы не на ладошке сидел, а как бы в воздухе, как бы над рукой Веры.

У него зеленая борода, коричневые ноги, белые руки, желтые уши, красные волосы, большие-большие и круглые глаза. И ангел заговорил, и, может быть даже, запел. А ведь ангел не умеет петь, но теперь запел, и, усевшись поплотнее в углубление ладони, заболтал ножками, и так замахал маленькими ручками, будто бы он дирижировал огромным оркестром, или не очень большим, но все равно чудным, очень громким и красивым.

И этот оркестр – это весь мир. И весь мир запел Вере – «здравствуй», каждая частичка живая и не очень живая, все, что дышит, двигается и поет, летает и ползает, стоит и падает, все-все, что есть под солнцем и небом, поет Вере – «здравствуй».

И теперь всегда, когда Вера заболевает, к ней прилетает маленький, курносый ангел с крыльями, садится на ладонь, как бы паря над ней, и поет песенку, болтая ногами и дирижуя руками, как бы перед небольшим или огромным оркестром. И Вера выздоравливает.

Температура (подмышка)

20.12.

Вера

6.30–37,3

8.00–37,5

11.00–37,1

12.45–37,3

14.30–37,1

17.00–37,3

19.10–37,3

20.45–37,5

22.50–37,1

21.12

Вера

03.00–36,7

08.00–37,4

10.30–37,1

12.25–36,6

21.20–37,3

Аня

16.50–38,0

17.30–38,2

18.30–38,1

19.15–37,6

20.35–36,8

21.50–36,5

22.12

Вера

07.50–37,0

11.05–36,9

17.25–36,5

22.10–36,7

Аня

07.45–36,7

11.05–37,1

12.40–37,1

13.40–36,9

17.30–37,5

19.04–37,3

23.12

Вера

07.00–36,4

09.35–36,5

14.00–36,3

17.30–36,6

21.40–36,4

Аня

07.00–36,2

09.35–36,3

14.00–36,1

17.15–36,6

21.30–36,4

24.12

Вера

08.00–36,0

13.00–35,9

16.50–36,1

Аня

08.00–36,2

13.00–36,1

16.45–36,9

25.12

Вера

08.30–36,3

16.00–36,6

Аня

08.20–36,1

15.00–36,3

Вода/регидрон (в рот)

20.12

Вера

19.00 (+5 мл)

19.12 (+5 мл)

19.23 (+5 мл)

19.35 (+5 мл)

19.46 (+5 мл)

19.57 (+5 мл)

20.08 (+5 мл)

20.20 (+5 мл)

20.32 (+5 мл)

20.41 (+5 мл)

20.50 (+5 мл)

21.03 (+5 мл)

21.13 (+5 мл)

21.24 (+5 мл)

21.35 (+5 мл)

21.45 (+5 мл)

21.57 (+5 мл)

22.07 (+5 мл)

22.17 (+5 мл)

22.28 (+5 мл)

22.38 (+5 мл)

21.12

01.50 (+20 мл)

03.00 (+15 мл)

06.00 (+45 мл)

06.30 (+15 мл)

07.00 (+15 мл)

08.00 (+15 мл)

08.20 (+25 мл)

08.50 (+25 мл)

09.00 (+10 мл)

09.10 (+5 мл)

09.40 (+20 мл)

09.45 (+5 мл)

09.55 (+5 мл)

10.15 (+5 мл)

10.25 (+10 мл)

10.35 (+5 мл)

10.45 (+5 мл)

10.55 (+5 мл)

11.00 (+5 мл)

11.15 (+10 мл)

11.30 (+5 мл)

12.20 (+10 мл)

13.00 (+25 мл)

13.15 (+15 мл)

14.00 (+5 мл)

14.10 (+5 мл)
14.15 (+5 мл)
14.30 (+5 мл)
14.50 (+5 мл)
15.00 (+5 мл)
17.30 (+150 мл)
19.20 (+50 мл)
20.30 (+50 мл)
21.20 (+20 мл)
Всего – 55 раз.

Рекомендации врача (дома)

Вера

Один раз в год к невропатологу.

Головные боли гасить парацетомолом/панадолом (1 ложка).

Аня

Серьезно и основательно лечить желудок и спину.

Диета – три недели

Аня+Вера – печенье сухое; супы – обезжиренные, вегетарианские; 50 г. творога; кефир – 150 х 2 (ежедневно); йогурт – 100 г.; сметана, сливочное масло; каша без молока – гречка, рис, кукуруза, овсянка; сухофрукты (из компота, варенье); говядина; банан; минеральная вода; кисель, компот, морс, чай; фруктоза – вместо сахара; хлеб пшеничный, вчерашний.

2000 г.

Рука Бродского

Лежу на полу в пыльной, засанной, грязной квартире моего умирающего отца, окруженный маревом комаров. И пишу о Бродском, о моих отношениях с этим последним русскоязычным поэтом двадцатого века, поддержавшим мировое имя русской словесности.

Тюмень. Обломок бывшей империи. Кругом разруха и пошлость, скудоумие и интеллектуальная неврастения. Этот город для зимы. Во все остальное время года – здесь нелепо, некрасиво, жалко. Здесь невозможны вкус, изысканность и изощренность, здесь – грубость и простота нравов, первозданность эмоций и реакций.

Тюмень и Бродский. Россия и Бродский – они для меня связаны в единый мотив. Мотив творчества. Этот мотив требует от меня нового пути и нового героя, и нового качества, которого недостает миру России и миру Бродского. А соединены они и совпадают в своем устремлении к свету только во мне.

Из дневника: *«Читал десятимесячной дочери Вере (29 марта, 1998 г.) стихи Иосифа Бродского. Он, конечно, великий поэт. Но спас ли он свою душу этим?! Вопрос еще тот. Хотя Вере понравились стихи Бродского. Чем?»*

Иосиф Бродский – русскоязычный поэт и литератор; похоронен за рубежом (род. в 1940 г.); в конце жизни перешел на английский; и как поэт благополучно умер еще до физической смерти.

Он попытался сидеть на двух стульях – ни на одном не усидел, стулья разъехались. Стихи, написанные Бродским в эмиграции, лишены ясности, стройности и гармонии, что обязательно наличествовало в русский период творчества.

Бродский бежал из России от православия. Первым делом метафизически, – отправить следом физическое тело поэта было делом техническим. Ибо нетерпим ему воздух православия, с его католической духовностью и внешними мирскими несвободами.

Бродский так и остался маленьким мальчиком, и еще и недоучкой. Ему не достало мужества выдержать аскетический напор России, потому он не сумел понять нелицеприятной и мужественной красоты ее. Он уехал не вперед, а назад, в историю, он там и остался в мыслях, в чувствах человека эпохи западного Возрождения.

Увы! Он думал, что эпоха западноевропейского Возрождения – это и есть расцвет человека. А вот тут сыграла с ним злую шутку его самообразованность, почти дремучесть философская и духовная.

Отказавшись от внутренних поисков России Бродский не понял, что западноевропейское Возрождение – это закат человека духовного, а провозглашение абсолютной светской самооценки человеческого гражданина – это начало упадка мысли и чувства, что в конечном итоге завело человечество в – так ненавидимый Бродским – капитализм.

Бродский для русской словесности – это упадничество, это – вовсе не движение вперед и не развитие. Потому что новой словесности нет без новой мысли, новой идеи, а Бродский – это воплощение старой, уже давно пережитой западноевропейской идеи – абсолютной человеческой свободы. И потому он смотрится столь необычно в России. Ну, это – как негр где-нибудь в тайге, на оленях, в мороз. Экзотика. Но не тенденция.

Бродский – это как Петрарка, который писал бы в двадцатом веке, а не своем четырнадцатом.

Т.е., если бы Бродский писал на итальянском, он был обычным рядовым поэтом.

Ну, и, конечно, лавры изгнанника, мученика режима, еврейский прононс. И все.

Мне его жалко. И немного смешно по поводу своего бывшего внутреннего пиетета и даже почти сакрального страха перед именем Бродского. А ведь в сущности страх был напрасен, был хоть и приятной, а слабостью.

Но все равно добрая ему память. Бродский сумел быть последовательным русским Петраркой. Бродский – экзотический амулет русской словесности. Бродский нужен был русской словесности – он ничего ей не добавил – он нужен прежде всего западноевропейской словесности для распознавания русской мысли, русской образности, русской чувственности.

Потому что Бродский – это эхо русской словесности. Хотя и очень точное эхо.

Бродский превратил свою поэзию в сортир. Поэтический метод Бродского напоминает пылесос. Он всасывает лишь то, что всасывается, то есть лишь материальный мир – объект изучения поэзии Бродского. Виртуального, нематериального, метафизического мира поэзия Бродского не замечает. Бродский хорош тем, что он очень понятен и приятен. Но русская поэзия никогда не была приятной. У приятной стороны русской поэзии есть иные названия – частушки, гимны.

Основная ошибка Бродского, предопределившая его путь и судьбу, – впрочем, как и многих, вполне добропорядочных и светски умных людей, – он хотел, и видимо вполне искренне, помочь русской словесности в обретении западноевропейских ценностей.

К тому же Бродский не понимал и не понял, что европейский мир, точнее, христианский мир – это единый процесс, в котором с одной целью, но под разными формами действуют разные участники – разные люди: западноевропейский человек и восточноевропейский человек – католический (позже и протестантский) человек и православный человек.

В десятом-четырнадцатом веках европейский человек разделился по формальному признаку: западный человек пошел по пути мирскому/физическому – светскому пути, восточный – по пути церковному/метафизическому, по пути святости.

Среди первых идеологов западного пути в европейской поэзии были Петрарка и Данте. Потому-то Бродский и пришел в Венецию. Потому как не Россия была его вдохновляющим началом, – хотя у него есть, написанные еще в российскую бытность, настоящие великие стихи, воспаряющие к божественной гармонии, – а Венеция и Флоренция – родина Данте и Петрарки.

Среди первых идеологов восточного, уже русского пути, в искусстве был Андрей Рублев. Комментарии излишни.

Трагедия Бродского в том, что он остался неприкаянным и по большому счету никому не нужным – от гениальности отказался во славу эгоистических устремлений, внешних пристрастий и внешнего комфорта, внешней свободы. Выбрав внешнюю свободу – потерял и всякую надежду на внутреннюю свободу.

И напрасно Бродский, будучи уже за границей России, называл себя русским поэтом; да – он был таковым, но он перестал быть им с того момента, как он впервые недостаточно почтительно, излишне вольно отозвался о православии, то есть о природе русской духовности.

И тотчас он перестал быть русским поэтом, а стал каким угодно поэтом, пишущим на русском языке. Например, итальянским, пишущим по-русски.

В этом смысле он очень точно обозвал свой первый заграничный стихотворный сборник – «Часть речи»; русские слова растворились в пространстве, окружившем Бродского, оказавшегося вне времени; остались лишь русские звуки, что лишь – часть речи. И все.

Бродский превращается в жалкого самонадеянного фигляра. Ибо культура, так называемая культура, – ничто, или, что точнее, культура вне духовности, т. е. веры, – это саморазрушающая стихия.

А именно такова поэзия Бродского; точнее, таков поэт Бродский в своем осознании и формулировании своих внутренних задач.

Спасение людей масштаба Бродского – в масштабе их таланта; поэзия этих людей, слово, к которому они прикасаются по милости Божьей, – оказываются сильнее, значительнее и возвышеннее их собственной личности.

Смотрел и слушал по телевизору последние разговоры с Бродским (какое неприятное, злое лицо, лишенное признаков человечности и жалости, и милости к людям), который будучи

в Венеции, говорил и ходил перед камерой и перед двумя, искренне влюбленными в него русскими журналистами. Много упражнялся о России и православии. Лучше бы он этого не делал.

Ну, во-первых, потому что он так ничего и не понял в России.

А, во-вторых, потому что, как и всякий поэт, Бродский умнее и выше, и значительнее, когда пишет стихи, а во все другое время становится просто маленьким умным человеком со своими недостатками и глупостями, полупрезирающим все несветское, и просто чуть-чуть иудеем, презирающим все иное. Жалко маленького Осю, за это его, уничижающее его самого недотепство.

Но все равно Господь его милует – за его слух, которым он слышит, за его руки, которыми он точно передает услышанную у Бога музыку небес.

Но и как же он мал, почти ничтожен, в рассуждениях о вере, религии, и особенно о православной вере, православной религии. И более всего в этом его устремлении к мысли о дикости России, о несовершенстве России, о недостатках российского общества.

И в этой его интонации, поносящей советскую Россию, есть что похожее на интонацию Троцкого, когда тот поносит царскую Россию, те же упреки в антисемитизме, та же беспредельная злость, та же слепота и нежелание видеть очевидное.

Бродский – это вершина ветхого человека, замороженного во времени, две тысячи лет зачем-то просуществовавшего, внешне живого, а на самом деле, находящегося в состоянии духовного анабиоза.

И удивительное откровение – лицо Оси, лицо все и выдает. В этом лице совсем нет жертвенности, нет сочувствия ни к кому и ни к чему, кроме узкого круга своих людей (близкие, единые устремления, помощники, мировоззренческие друзья), это лицо – ветхого человека, лицо вечного жида, Агасфера, которого так ненавидел мир в последние две тысячи лет.

Бродский – это Агасфер. И все тут. Он так ничего и не понял. Он еще долго будет скитаться по миру, пока не осознает, что же он совершил в момент восхождения Господа на Голгофу. Минуло две тысячи лет, Агасфер пока ничего не понял, он не осознал – за что он наказан, но более того, он не понял даже того, что он – наказан!

Бродский-Агасфер – удивительный, абсолютный пример, еще не покаявшегося, – но уже вставшего на путь к покаянию, – иудея. И первый шаг – это познание католических светских прописных истинных. Глубинных, мистических оснований католичества, стало быть западного христианства, он еще не понял, – он еще не понял, что для верующего человека внешнее ничто, тем более в храме.

Господь милостив к Агасферу-Бродскому лишь за то, что он еврей – потому не уничтожает его, а дает ему шанс осознать, дает возможность раскаяться. Агасфер будет скитаться, пока не раскается в содеянном.

Да! Маленький гениальный Ося! Вот так. Прости старик. Уж прости.

Вновь, заполняя возникшую пустоту, я читал ребенку стихи Бродского. Мелодично, но много строк ни о чем, лишь заполняющих паузы.

Порой впечатление, что поэзия Бродского – это одна большая пауза.

Но ребенку вслух почитать можно для тренировки речи.

Бродский хоть и гений, а дурак.

У него масса пустых, мелких и ничего не значащих стихов. А часто и просто глуповатых, банальных, очень поверхностных.

Иосиф Бродский – старый поэт, поэт умирающего мира, умершего, мира идеологических представлений, построенного на вымышленных образах, эстетизированного/эстетствующего мира.

«Поэт – орудие языка. А не язык – оружие поэта». – Это его мысль.

Внешне мысль понтовая, эффектная, необычна и оригинальна, ярка. Но для человека искусственного – самая обычная, настолько обычная, что тиражируема в рамках любой профессии.

Журналист может о себе сказать – «Журналист – орудие факта...». Судья – «Судья – орудие закона...». Крестьянин (если бы размышлял и сопоставлял) – «Крестьянин – орудие земли...».

Во всем он таков – Иосиф Бродский, апофеоз русской литературы конца двадцатого столетия. Противоречив, оскорбительно язычен, несчастен.

Я было решил, читая прозу И.Б., что его противоречия – это противоречия личного свойства. Но постепенно понял, что внутренняя противоречивость высказываний и поступков И.Б. – это не личная его противоречивость, такова природа его убеждений. Такова природа язычества, исповедующего эстетическую свободу и многообразие вселенной человека – даже вопреки, или против этического начала человека.

Всякий, исповедующий эстетизм в качестве жизненной основы – противоречив глубинно. Всякий язычник противоречив глубинно. Неземная красота язычества вполне уживается с неземной противоречивостью языческих нравов, и все вместе с многобожием.

Поскольку эстетика – это всегда внешний, всегда поверхностный слой жизни – человека, природы и мира в целом, – но в этом слое недостаточно глубины, чтобы успеть соразмерить и уложить противоречия, недостаточно места для хода механизмов ума и души, – ум и душа постоянно утыкаются в границы эстетики, не успевая осмыслить и прорешать все возникающие коллизии и вопросы, как пора уже идти дальше.

Талант Бродского – это талант иллюзиониста, который именно создает иллюзию правды, но не собственно правду, работая и созидая в категориях количества, не качества.

И в этом смысле И.Б. – искренний эксплуататор традиции русской поэтической школы времен Северянина и Бурлюк-Крученых. И.Б. – как бы Игорь Северянин конца двадцатого века – традиций чистого эстетизма. Либо же надо договориться о терминах. Если же продолжать в рамках общепринятого, то получается так.

Вершиной русской поэтики двадцатого века были Николай Гумилев и Осип Мандельштам. Они чудодейственным образом сумели соединить сакральность и технологию. И наметили выход русской литературы из тупика.

Но не Бродский их продолжатель. Бродский – эксплуататор, а не творец чуда, он попытался продолжить раннего Пушкина, – в части продолжения традиции Возрождения и античности и склонности к поэтической технологизации, т. е. прежде всего в части овладения формальными приемами поэтической речи, в части естественного преклонения перед эстетическим/формальным началом языка.

И И.Б. довел до совершенства технологию поэтического языка. Бродский – это логичное завершение эры ранней пушкиноидной литературы.

Бродский и ранний Пушкин – близнецы-братья. Два мелких беса. Но есть отличие: Бродский так и остался ранним.

Чистое естество И.Б. – это чистое эстетство. Подтверждением тому каждый его стих, и в концентрированном виде его слова в его нобелевской речи, образца 1987 г.: «Эстетика – мать этики».

Выдавая это утверждение за выстраданную личную позицию, – И.Б. и не подозревает, что эта позиция устарела трижды – первый раз в тот момент, когда в 1850 г. до Р.Х. Бог даровал в Харране Аврааму право на единобожие: «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, (и иди) в землю, которую Я укажу тебе. И Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое; и будешь ты в благословение. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; и благословятся в тебе все племена земные».

Во второй раз – в 1250 г. до Р.Х. на горе Синай, когда Бог даровал через Моисея десять заповедей, утвердив на земле эпоху Ветхого Завета.

В третий, – и это был последний, окончательный, утверждающий раз, – в 30 г. нашей эры в Иерусалиме, когда Господь Иисус Христос утвердил эпоху Нового Завета: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга».

Все! эстетика языческого чувства и этика ветхозаветного закона окончательно отступили на второй план после рождения этики любви. Навсегда.

То есть, Бродский даже и не чисто ветхозаветный поэт, а во многом еще и языческий поэт, и это несмотря на бытовой иудаизм советских евреев. Или именно благодаря этому обстоятельству, вполне виртуальному. Кстати, приведшему И.Б. в эстетизм. Эстетизм – это небытие. Прежде всего в духовном плане.

Поэзия Бродского – это демонстрация человеческой личности – но не ее развитие; это – сам И.Б., отвергший попеременно, двигаясь назад, христианство и иудаизм, и основавшийся в язычестве.

Что и подтверждает И.Б. самолично в в 1985 г. в очерке «Путешествие в Стамбул» (гл.16): «Ежели можно представить себе человека непредвзятого, то ему, из одного только инстинкта самосохранения исходя, политеизм должен быть куда симпатичнее монотеизма. Такого человека нет, его и Диоген днем с огнем не нашел бы. Более памятуя о культуре, называемой нами античной или классической, чем из вышеупомянутого инстинкта исходя, я могу сказать только, что, чем дольше я живу, тем привлекательнее для меня это идолопоклонство, тем более опасным представляется мне единобожие в чистом виде».

Но и не слыша этих его слов, почти ясно из его поэтических текстов, что Бродский – именно языческий поэт. И он демонстрирует это и всячески подтверждает, исповедуя и превознося античную поэтику и поэтику Возрождения, которая черпала себя из античности. Подобное к подобному.

Языческий поэт двадцатого века, – как и любой другой, как и любого другого, – должен найти/обрести почву/основание под ногами. Вот И.Б. и обрел свою почву среди себе подобных.

Языческая поэзия Бродского – это поэзия дикого зверя, которого загнали на арену – ах, как ярки его глаза, как бурно вздымается грудь и западают бока, как стремителен зверь в круговом беге.

Но ведь это – дикий зверь – от него нет никакого прока: либо быть убитым в бою на арене цирка, либо быть отпущенным в лес, где он будет служить только самому себе, чтобы потом уйти в небытие. Но в любом случае ему не жить среди людей.

Дикий зверь – это даже не домашнее животное, которое может испытывать и переживать любовь к человеку. Как далеко ему еще до слова.

Хотя, конечно, – повторяюсь, – любая первозданность выглядит свежо и живо. Поэтому поэзия Бродского кажется – и есть таковой – энергичной и сильной. Как волк, который физически силен и всегда внешне энергичен, ибо свободен от обязательств.

Бродский – это волк русской поэзии.

Но ведь есть домашние псы, которые бьют волка. Волкодавы. Но они еще и способны на любовь. В ночь на 10 июля моей беременной жене Лене приснилось, как я убил волка.

Бойскаут от культуры. И.Б. остался книжным человеком, книжным бойскаутом, который ни перед и ни за что не отвечает, не хочет отвечать.

И одновременно Бродский катастрофически, невероятно необразованный человек. Конечно, он многое, почти все знает в литературе и в поэзии Европы и России, но он совершенно ничего не знает о духовной цивилизации, о духовной культуре, о человечестве в Святом Духе.

Несчастный интеллектуал. Парвеню. Во всем. Особенно остро в публицистике – конечно-конечно: в эссеистике!

В стихах И.Б. нечаянная и негаданная радость самообразования прет отовсюду, выпирает эдаким прыщом, – это когда хочется все, все что знаю, впихнуть во все, что пишу.

Бродский – не образованный, Бродский – самообразованный человек.

Бродский – банальный проповедник. Но что он проповедует? Язычество в поэзии. Или поэзию язычества?

Свобода И.Б. осталась в рамках языческого мира – что хочу, то творю – не более, не далее.

Жалкий гений места.

Для того, чтобы быть, ему надо к чему-то прицепиться, всосать в себя что-то зримое, пахнущее временем и языком.

И.Б. даже и не понимает, что он – есть отчаянный жалкий и бедный парвеню, когда с упоением описывает всю эту гниль и ветхость итальянского пыльного снобизма, венецианского пыльного быта. Который даже виртуальнее советского бытового иудаизма.

Благородства не достает. Увы, это кровь.

И у И.Б. женская сущность, он метафизически капризен и обидчив, он слишком от внешнего слова, он слишком традиционен в этом смысле.

Бродский мне чем-то напоминает ребенка, ребенка-вундеркинда, который удивителен и неповторим в рамках детского мира, – его результаты, слова, поступки удивительны и несоизмеримы ни с чем угодно – но лишь в детском мире; при соприкосновении со взрослым миром этот детский гений – растворяется, теряется, исчезает, усредняется.

В России детской мечты И.Б. был гений, он был – сверху вниз.

В России духа – он взрослый, как и все, – и вот он уже всего лишь неловкий шутник и странный учитель, вечный отпускник, жалкий бес, бедный Ося, – который умер в убеждении, что его отец и мать, которые остались в России, умерли рабами, а он умрет свободным человеком, потому что не в России.

Вот, что ляпнул И.Б. в своей нобелевской речи: «Лучше быть последним неудачником в демократии, чем мучеником или властителем дум в деспотии». Самый его неудачный каламбур.

Неужели И.Б. не понимал, что этими словами он обрек на рабство около двухсот с половиной миллионов человек, живших на тот момент в России?! Что невозможно?! Никак.

Нет. Не понимает.

Жалкий недотепа, а в смысле понимания/осознания свободы – почти ничтожество.

Безусловно И.Б. – в итоге – стал – в итоге – свободен – в итоге. Но это – свобода булгаковской Маргариты, намазавшейся кремом Азazelло, чтобы лететь на ведьминский шабаш. И это свобода от чего-то, а не во имя чего-то. Мазью Азazelло для И.Б. был волчий билет невозвращенца домой – невъездная виза.

Высылка Бродского из СССР в 1972 г. была путевкой в литературный рай.

В семидесятые годы мало-мальский талант, изгнанный из СССР, автоматически становился на Западе фигурой. А Бродский еще и настоящий талант.

Но И.Б. не достало масштаба А.Солженицына, чтобы вернуться в Россию, когда стало можно, и не достало гения Бунина, чтобы состояться и за рубежом. Хотя, конечно, он шел по пути Бунина, именно Бунина эмиграционного. Но Бунин стал Буниным в России, а Бродский стал Бродским за рубежом, на волне холодной войны, и ненависти к «империи зла»/СССР. Т. е. Бунин – Бунин сам по себе, Бродский – Бродский благодаря чему-то.

Благодаря большевизму, благодаря диссидентству, благодаря сионизму – И.Б. сделался гением места, светским гением.

Конечно, главное, в чем я не могу отказать И.Б. – это мирская, материалистическая, земная свобода. Он достиг свободы слова.

Хотя, конечно, духовность, духовное начало в этом слое почти вовсе не размещается. И потому И.Б. не достиг свободы духа.

Для него открытием стала первичность языка слова. Но ведь, чтобы относиться к этому постулату привычно, достаточно знать Новый завет, причем, не весь.

Духовность Бродского начинается, когда он выходит за границы эстетики – в стихах русского периода, в его первых зарубежных стихах, в его прозаических размышлениях о смерти и жизни родителей без него. Когда он говорит о том, что он переживает телом!

И.Б. всегда страдал от своей духовной неполноценности. Какой-то стопор мешал ему выйти на простор веры.

И стопор этот – Ветхий завет. А не антиБожественность. Поскольку И.Б. очевидно и подчеркнуто – религиозен: «Рассудок сыграл тут очень небольшую роль. Я знаю это потому, что с тех пор уходы повторялись – с нарастающей частотой. И не всегда причине скуки или от ощущения капкана: а я уходил из прекраснейших ситуаций не реже, чем из ужасных. Как ни скромно занятое тобой место, если оно хоть сколько – нибудь прилично, будь уверен, что в один прекрасный день кто-нибудь придет и потребует его для себя или, что еще хуже, предложит его разделить. Тогда ты должен либо драться за место, либо оставить его. Я предпочитал второе. Вовсе не потому, что не способен драться, а скорее из отвращения к себе: если ты выбрал нечто, привлекающее других, это означает определенную вульгарность вкуса». – «Меньше единицы», ч.2.

Хотя эта религиозность и не осознанна, и не сформулирована. И потому, наверное, только светски, мирски он преодолел тяготение и инерцию Ветхого завета. Но манию Ветхого завета – нет.

И.Б. страдал от своей поверхностности, поскольку понимал, – если и не логически, но условно, творчески, – что эстетическая сторона жизни – это очень незначительная ее часть – это внешний поверхностный слой.

И в этом смысле И.Б. – внешний человек.

Например, описывая и оценивая формалистически, языково и политически русский мат русских рабочих, – И.Б. не осознает сатанизма мата, бесовской природы сквернословия/брани.

И.Б. говорит: «Человек – это сумма поступков». И всю жизнь неформально и почти неосознанно борется с Богом.

И.Б. – особенно это заметно в прозе/публицистике, – пусть в эссеистике, это не столь предметно/конечно, – всегда подспудно борется со Христом. Причем, не в принципе, а как бы отстаивая мифическую фигуру, именно – словесную фигуру свободы выбора.

И.Б. никак не мог остановиться в своем противостоянии власти. Даже если – это власть Христа.

Из дневника: «В итоге Бродский свихнулся на почве борьбы с деспотией, властью, системой. Вначале он победил Бога в себе, а затем и тело свое решил победить – как последнюю систему, в которой он жил.

Бродский сидел на диване и размышлял о себе, и о времени. Ему было скучно, хотя и весело, потому рассуждать о себе он любил. Но не любил рассужать, потому что он считал, что любой порядок, – а последовательность рассуждения – это уже порядок, уже система, уже деспотия, уже власть, – вреден и должен быть ниспровергнут.

И тут Бродского охватила горячка. Он взял нож и принялся за разрушение собственного телесного порядка – путем отрезания от тела частей и кусков.

Вначале он отрезал себе язык, затем член, потом откромсал с помощью молотка правую ногу, затем левую, отхватил левое ухо, затем правое, потом отрезал ягодицу – одну и другую, затем левую руку, потом покромсал торс со всех сторон, потом отрезал нос, щеки, срезал скальп, в довершении всего – голову. И осталась на диване рука с ножом и торсом.

И этот торс и эта рука – это было все, что осталось от И.Б. – свободного человека в свободном мире демократии, выбравшего юдоль свободного самоубийства, вопреки юдоли мученика или деспота в деспотии.

Через месяц рука и торс в жарком и сухом воздухе мумифицировались.

Но и через год, и всегда свободная мумифицированная рука продолжала свободно сжимать нож выбора, провозглашая, защищая и свидетельствуя о свободе демократии – вопреки свободе деспотии.

Бог для Бродского завершился, как только он взял нож для вивисекции собственного храма – собственного тела – ведь храм тела для души был покорен навсегда. Безвозвратно.

Впрочем, правая рука, если она когда-нибудь разожмется, сумеет по крайней мере перекрестить торс, то место, где сердце могло бы биться, если бы голова оставалась необрезанной.

И в этом его спасение. Восхваляемая И.Б. интуиция спасла его и на сей раз. Оставив ему правую руку. Оставив ему шанс креста. Ему – мелкому бесу, это – если метафизически. А по-человечески – парвеню, свихнувшегося на демократии.

Созданный русским языком, и его, русский язык проклявший. Мелкий бес. Кукушонок».

Жил Бродский в свое удовольствие и умер за ради своего удовольствия. Никто и ничей, никак и ничто.

Хотя по большому счету, это и не важно. Его жизнь – это его личное дело, его личная ответственность перед Богом. Если, конечно, он не приносит беды окружающим. А он не приносит беды окружающим. Правда, он не приносил и короткой помощи. Он показывает новый путь познания жизни, путь новой свободы. И, слава Богу!

В чем его величие?!

Скажем, он открыл новую свободу слова.

Но проза И.Б. часто тщедушна, жалка, не вкусна. Это – вкусовщина, это не вкус. Его проза отличается условностью в выборе предмета. Он никак и ничего не писал о месте, где жил – об Америке – лишь вскользь, понимая, что придется писать, в том числе, скучно-правдиво-грубо-жестко-нелицеприятно, чего он позволить себе не мог, – ведь где же тогда жить, зарабатывать!? И ничего не написал про Израиль – не хотел разочаровываться. А про Россию, Стамбул, Венецию, Бразилию и пр. – можно свободно, не заботясь о последствиях. Приспособленческое начало.

Величие такого человека, как И.Б., – это величие личности во времени, но не времени в личности.

Только соединяясь, величие времени и величие личности дают вселенского гения. Но не в случае И.Б.

Порой банальный, слащавый поэтический язык.

Иосиф Бродский делает мир единым. Но не словами или мыслями, а интонацией. Поэтической интонацией. Обыденной поэтической интонацией, приближающейся к человеческому дыханию. И это не новость.

И он всегда пишет от потребности и по потребности. И это не новость.

Настоящий литератор – это песочные часы, как их ни поставь, – они отмерят одно время. Не так с И.Б.

Если его перевернуть, песка не хватит, чтобы покрыть время, уже однажды И.Б. отсыпанное.

Его труды жизненные противоречивы, как и он сам.

Более половины нобелевской речи И.Б. отдал борьбе со своими врагами – критиканством/зубоскальством, деспотией, вкусовщиной, рабством, энтропией, местничеством, мизантропией, усредненностью, обезличенностью, системностью; но все эти враги в нем самом сидят, – и все вылезли в нобелевской речи.

Но все вместе взятое сочетается с даром огромным, нечеловеческим. Заслуга И.Б. в том, что он не изменил дару.

Мне часто хочется приглубить И.Б., погладить его гладкую, лысую голову. Потому что мне его жалко.

Поэзия И.Б. – это талант, превзошедший человека, инструмент, превзошедший автора.

Все остальное в И.Б. – это человек, недостигший своего таланта. Апофеоз инструмента. Когда нет Бога – все дозволено. Да. Именно это демонстрирует И.Б. во всем остальном.

Эстетическое пиршество И.Б. означает на самом деле... Да ничего не означает! А часто и простое хамство.

Главное! Поэтическое изобретение Бродского – в сближении человеческой поэтической потребности с человеческой потребностью в хлебе и воде. Именно! Ибо потребность И.Б. продавать поэтические книжки в супермаркетах – это основное открытие И.Б. для мировой поэзии. И возможным это откровение стало возможным благодаря природе русского языка.

И это было не просто.

Я его полюбил и примирился с ним, простив ему его необоснованные и мелкие нападки на духовную и отеческую жизнь (он – сам того не желая), – после его «Полутора комнат» и невероятной боли строк о родителях. Там слезы и страх, раскаяние, терпимость и сочувствие. Эти строки пропитаны слезами и страданием. Читая, видишь – нет! – чувствуешь комки в горле своем и его.

И И.Б. примиряет непримиримых.

И.Б. примиряет меня с родителями моей жены. Но вряд-ли их – ибо они никогда не прочтут И.Б.

Все равно, значит совершился акт творческой воли. Хотя бы по отношению ко мне.

И.Б. примиряет меня и с искусством.

Искусство – это хорошее занятие, нужное, важное, интересное. Конечно, если это хорошее искусство.

Бродский – это хорошее искусство, сильное, нужное – отделяет зону хаоса от человека. На том ему спасибо.

Из дневника: *«Бывает, я боюсь дня – вновь страх опоясывает душу. Вчера (28 января, 1996 г.) поздно вечером (уже ночью) сразу два сообщения о смерти: умерли – великий русский поэт Иосиф Бродский, и отец одной моей бывшей журналистки. Смертельный вечер. Смертный вечер. Низко поклониться Бродскому остается. И остаться в таком поклоне».*

2001, июль

Из России в Россию

посв. Л.

3 июня, 1994 г.

Я никуда не приехал, ибо я никуда не выезжал. Дорога колдует. Все время играю. Всегда.

Люди живут, например, как Фотина. Она утомительна и серьезна во время покупки черных колготок. Выставив язычок, рассматривает на свет прозрачную черную кисею, слушает продавщицу, задает вопросы, оставаясь абсолютно серьезной. Она не играет, она так живет, она максимальна в настоящем времени, в настоящих обстоятельствах, ее почти ничего не смущает в настоящем, ничего не волнует в будущем, или вовсе ничего.

Я могу в той же манере разговаривать с барменом или безобразным иностранцем, но для меня это – игра. Я могу раскрутить любого человека и быть ласковым с врагом или неприятелем, или человеком глупее меня, но это для меня – игра.

Фотина живет по-настоящему. У нее редкий вкус в одежде, она ходит красиво и всегда внешне жизнерадостна, кажется, при этом воспитанной, и необычайно энергична и напориста.

Впрочем, доволен о ней.

Последние несколько дней, готовясь к дороге, я стал нервничать, затем злиться на себя за свою невыдержанность, точнее, за свое внезапное беспокойство.

Выражается это в трудном вставании по утрам, некоторой несобранности, хотя это могло быть вызвано началом проекта НСН. Это – моя новая игра. Я постоянно играю – в мужа, в отца, в репортера, в звезду, в друга, в предателя, в любовника, в негодяя, вот теперь в одного из руководителей и создателей информационного проекта национального масштаба – НСН. Я уже влиял на умонастроения миллионов людей на восточном побережье страны. Теперь будет возможность влиять на общественное сознание миллионов и миллионов в стране. Я готов к этой новой роли. Эта роль – для меня. Но это новая игра.

Все перечисленные роли оказывались малы и недостаточно глубоки для меня. Я их пережил и прошел. Где же моя новая роль – что она, кто она?

Писательство, отцовство, супружество – может быть так?! Не будем загадывать и перебирать. Войдем вновь в полноводные воды жизни!

Дорога колдует.

Сегодня колесил по городу: перед отъездом из Москвы в Хабаровск за женой и детьми, я ходил по магазинам – покупал книжки, игры, кое-что еще. И дважды ездил на машине – с Фотиной и случайным водителем. И они оба нарушали правила. Фотине сошло с рук, а водитель, который также развернулся против движения, попал под штраф.

Москва постепенно приобретает исторический облик – ремонтируется, реставрируется, отстраиваются дома. Москва делается красивой. Затем я отдал на сохранение и уход за собой свой бонсай, сосну о четырех стволах, и поехал в аэропорт. По дороге разговорился с водителем, который возит время от времени иностранцев из Шереметьево в Домодедово на рейс в Новосибирск. А в Новосибирск они едут в центр по сердечно-сосудистым заболеваниям, где им делают операции на сердце. Операция стоит \$30 тысяч, КПД – 90 %, что выше, чем где-либо за рубежом. Так сказал водитель. Интересно, что вместе с ним я в третий раз за день пересек разграничительную линию на проезжей части улицы, на сей раз обошлось. А еще я сегодня в самый последний момент отказался смотреться в расколотое зеркало – плохая примета. А еще я сегодня купил пиджак за DM201.

Авиарейс Москва-Хабаровск. Возможно, последний раз. А сколько было прежде?! Много.

В аэропорту Домодедово вспомнилась эйфория, которая была в стране, когда начался передел власти. Помню, как я, наблюдая грязь и разруху в этом же аэропорту в 1991 году, думал, когда же это все изменится!? Я говорил себе, что, конечно же, невозможно вслед за политикой изменить экономику, но как хотелось верить в чудо. Я убеждал себя в том, что, конечно, пройдет много времени, прежде чем что-то изменится. Как же хотелось заглянуть вперед.

Прошло три года – нет изменений, грязь, убожество, толчея, разве что есть холодное пиво, сардельки и денег побольше в кармане. И другие поводы.

Пишу, сидя в кресле у иллюминатора, над головой темная лазурь неба, кипень света ушла за горизонт, мы летим, обгоняя мое время. Небо цвета бордо и пастельной неопределенности в соприкосновении с легким бризом фиолета, переходящего в синь и темную лазурь с оттенком бирюзы.

То есть, я можно сказать, пишу, смотрю, мечтаю, думаю о жене, которую хочу. И вдруг бросаю взгляд и вижу в проходе мертвое женское лицо. И пошла, блядь такая с глаз долой. Она и пошла.

А за бортом дивно. Чернь волнистая облаков, крыло, рассекающее что-то, и еще более потемневшие облака. Красота навсегда – летим мы или нет, она есть всегда. Входим вовсе в ночь, багряное и неопределенное, пастельное ушло, осталось только лазурное, голубое и нежное серое. Рассвет нас не оставит, он нас вскоре встретит восходом солнца, таким же мощным движением вверх, каким оно было вниз.

Фотина, конечно права, – у меня не просто ужасный характер, я еще и капризен, и излишне многозначен, и амбициозен, и закомплексован абсолютно и безо всяких поводов. Одним словом, барышня. Так уж и барышня?! Не так уже, но, видимо, не без того.

Пустота не терпит пустоты. Ночь абсолютная держалась совсем немного – минут 15–20. И пошел восход алеть, и небо высветлило. И кромка крыла высветлилась.

Только я зажевал эти мысли крылышком птички, как голос справа – «ты – Дорофеев»?

Три года, как я не работаю на Хабаровском телевидении, а люди помнят. Видимо, что-то важное для людей я все же сделал, если спустя три года помнят мою фамилию незнакомые мне люди, значит, значит, не зря в Хабаровске я работал, – для людей я работал, я менял их жизнь. Люди это и помнят. Оценили.

Розовое вновь выскочило, будто пробки со дна, выпущенные из под руки тяжелой. И уже не розовые всполохи, уже розовые свитки разворачиваются и перемешивают все со всем. А внизу темень облаков – и темное брюхо самолета пояшет этот воздух в неизбежном движении вперед. Да.

А меня где-то ждут и любят, и я жду и люблю. А у Фотины сегодня были грустные глаза, большие, блестящие, но печальные, как всегда, независимые и крепкие, настоящие. Славная девочка. Я ее, конечно, не обижал, проверял, разве что.

А на небе уже неразливанная синь, она вышла не вдруг, багрянец легкий сменился розовым, которое вышло на небо пластами, чтобы уйти в желтое, которое затем обернулось бледно-голубым и иссиня-темным.

Благодать на небе. Годы и годы миллионы людей пролетали мимо, вглубь и вскользь, прямо и наоборот – никто не видел, я первый рассмотрел.

Кажется, Фотина будет скучать без меня.

День же разворачивается, вплотную мы к нему подступаем – и резкий багрянец солнца уже проявился слева и впереди, верхняя половина за облаками, нижняя полыхает, словно, горящий уголь. Вот уже вышло благодетельное солнце.

Здравствуй, день.

Солнце высветлило плешь облаков, далекую и темную землю внизу. И горит, и слепит золотым огнем, – горит, дорогу указуя, совершенно живое и наполненное глубинным огнем, которым горит тьма окаянная, когда тьма светом застится.

В самолете сидят и смотрят тревожные свои сны люди, думают о грядущем.

Солнце поднимается. Диск-шар пытается взойти на горизонте, заполняя все окружающее своим горячим светом, – хорошо и желанно, но порой и легко, но порой и вечно. Радость – это и восходящее солнце каждый раз. Господи, высвети свет светом ради света и от света. Солнце – уже хозяин. Да. Нет сильнее ничего.

В салоне воняет алкоголем и перегаром, и чем-то нехорошим. Многие, очень многие мужчины и даже некоторые женщины практически тотчас после взлета принялись выпивать и закусывать, а затем разом все захотели спать, и почти разом все заснули. Что-то негодное в этих людях, если они не договариваясь, действуют сообща. И, если бы действие это было прекрасным, тогда их общность была бы достойна подражания. Но нет.

4 июня, 1994 г.

Самолет в осиянной благодати планетной – солнце горящее и пламенеющее над облачным раздольем, в окружении красок бледно-серых с голубизной. Неподражаемые краски утра. Солнце впереди, освещает путь. Дымкой подернутое пространство между небом и землей, на которой кряжи и сопки, – уже сопки! после пяти с половиной часов полета, – подернутые снегом.

Дальний Восток на дворе. Да! И спокойствие света после крыла, и величие, и неистовство света по движению крыла.

День ярче и ярче. Облака уже просвечены – стали белы. Вдали цепляются облака за горные кряжи, кудрявистое светлое кружевато поле, пронизанное темными острыми дулями. А вот и подобие реки меж двух протяженных кряжей.

Как же протяженна, разна и исключительно привлекательна, хороша Россия. Великая страна.

Нужно сделать моду на Россию, моду на посещение ее самое. То есть одно из первых дел государства – развитие внутреннего краеведческого туризма. И делать протекции фирмам, которые возьмутся за организацию такого туризма, этого бизнеса.

За крылом осталась (буквально я вижу сзади по движению самолета) кряжистая горная страна, возвеличенная снегом и светом.

Поменялась природа облаков. Под нами сзади и впереди, кругом, – белое плотное облачное марево и подозрительная сила неба.

Облачный поход, облачное пиршество, облачный бред – вот во что мы вошли, и движемся внутри залитого, наполненного облаками пространства.

Мы вышли из облачного промежутка, мы вошли в открытое междутемье, между небом и землей есть только одна нить движения – в никуда и ниоткуда. Да!

Родная земля под землей. Я лечу к моему дому. Я успел полюбить этот дом, он стал моим домом, – это город Хабаровск, и эта земля – Дальний Восток. Мне приятно здесь будет всегда и всегда пронзительно волнительно. Это ни равнина, ни горы, ни нагорье, ни лес, ни тундра – это Дальний Восток.

Подумалось о крыле самолета; почему оно неподвижное, ведь воздух живой, он движется, потоки ходят, крутятся, двигаются, несутся и прежде всего живут, значит, и крыло должно быть живым или имитировать живое состояние.

Живая имитация – это будущее воздухоплавания.

Внизу следы наводнения. А на берегу – или краю? – потока – люди высотой с мост.

Сели в красивый, большой, зеленый город – Хабаровск. Плюс пятнадцать градусов. Зелень чистая. Ясно. Господи! Помоги и укрепи, и направь!

Меня встретили. Хорошо и нервно. Анечка плакала, Лена ждала и нервничала, как и я, несколько дней подряд. Дети страстно, и может быть, страшно ждали. Впечатление от них – трудные. Собственно, они выглядели, как одинокие люди, лишенные чего-то главного. Бедные мои, родные люди.

Асенька все время ловила мой взгляд. Анечка неловко смущалась, ловя мой взгляд, а Асенька устремлялась навстречу.

Лена, как мне и виделось, как-то так потуплялась, как она делала всегда, когда была счастлива.

Нет, я вовсе не домой приехал. Я приехал к родным людям. Хабаровск – уже не дом мне.

Произошло непоправимое; энергетический центр Хабаровска разрушили – две двуликие каменные обезьянки убрали с их законного места, на котором раскопали землю, обнесли все глухим забором, развернули строительство. Пока я был – место было. Меня нет – и места нет. Вокруг все тоже, но не подойти, не постоять. Странно, у меня нет ни одного снимка с обезьянками, не получались. Все кончено. Разрыв с Дальним Востоком состоялся.

Анечка стала капризная, резкая, но тонкая, хорошо чувствует насилие и грубость. Асенька умна, закрыта, решительна в выработке собственного мнения. Анечка чрезмерно чувствительна. Я чувствую себя хорошо с девочками и Леной.

Мы прошли по улице Карла Маркса – центральная улица города. Удручающее зрелище производит город. Видимо набирают силу консервативные, удушающие коммерцию, структуры. На центральной улице нет практически магазинов новых, нет новых ресторанов, нет закусочных, нет офисов, нет рекламы – голая степь. Лица неинтересны, бабы ужасны, мужики провинциальны, все одеты в большинстве старо. В коммерческих лавках невероятно бедно, выбор мал.

И все же невероятно красиво на Амуре, с утеса очень сильный вид и панорама. Но этот вид и это величие были найдены и определены еще в девятнадцатом веке, т. е. – это заслуга предков.

Посмотрел ночью видеосъемку семьи, сделанную весной 1991 года. Дома как-то чисто и солнечно. Но на детях и Лене печать какой-то подавленности, природа которой – я. Теперь я понимаю, причина моего наказания – мое дикое, гипертрофированное самомнение. У Лены редкой красоты волосы и глаза чистые и ясные. Вот мое богатство – и дети. Никогда не стану снимать детей и близких на видео.

5 июня, 1994 г.

Сегодня утром проснулся в некотором дурмане. Вчера ходили по городу, как же мне было тяжело – давит здесь. Я сейчас собираюсь, пытаюсь понять, что я оставляю в этом городе, что и как, и почему. Трудно собраться с силами и окончательно выскочить из этого бывшего рая, которому я отдал семь лет. Было много; останется свинцовое небо над осенним тяжелым и мощным Амуром, осенний пляж, дети на песке, город за спиной – с возможностями, с опасностями, со злобой. Останется неторопливость и осторожность бытия вокруг, пошлость и бездарность людского окружения – в отсутствие любви.

Сегодня вновь почти весь день в городе. Ходили в японский ресторан – там настоящая японская кухня, в настоящем японском антураже. Что-то все же произошло в Хабаровске, ушли отсюда люди, стало много меньше иностранцев (по сравнению с началом девяностых годов), видимо, сместился окончательно центр деловой активности во Владивосток. Вовсе пустой ресторан – никого, мы ели вчетвером. Пусто, даже немного досадно. Мы ели в отдельной комнате.

Печально, наши дети вовсе не привыкли к жизни, выходящей за пределы дома. Затем, ближе к концу ужина я загрустил, начал пережевывать мимолетную встречу с Александром Солженицыным.

Он вышел неожиданно нам навстречу, мы шли вчетвером, Лена увидела его первая. Встреча была короткая, мы пожали друг другу руки после моего приветствия. Затем я сказал, что я – журналист из «Коммерсанта», из Москвы; он тут же потерял интерес ко мне, повернулся бабьей широкой задницей, пошел, не разрешив сфотографироваться с ним. В тот момент я не отреагировал. В конце семидесятых годов я его книжки тайком переснимал в фотолаборатории, боясь всего. А он повернулся спиной. Досадно. Он излишне романтичен к России, переоценивает силу провинции к консолидации. А.С. – стар, худ от старости, изможденная рука, в бороде узкое лицо. Глаз я не разглядел, я пытался охватить его образ, принять его присутствие здесь. Он был в полосатой темной рубашке, когда здоровался со мной, снял кепку. Когда он пошел от меня, я увидел штаны, выскочившие, сползшие из под ремня. Гений не всегда проныкателен, гений может быть и внешним, а потому надо уметь видеть только внешнее.

Странна его реакция, такая реакция – это следствие слишком общего, слишком крупного взгляда на окружающий мир. Он, собственно, никогда и не был художником, он – документалист-протоколист, в этом его сила. Психологией никогда не пахло, как и артистизмом в его романах. Он ничего нового не внес в развитие языка, он внес новое в развитие общественной жизни, в историю человеческой личности, он сам – как олицетворение планетного процесса развития личности. Он слишком много сделал, пока даже не все понятно, что с этим делать.

Солженицын приехал спасать, точнее, помогать родине, он – гений, и потому не важно, ошибается он или нет. Он избран, и он знает это. И потому он чувствует себя мессией.

6 июня, 1994 г.

Никогда не фотографируй спящих людей – это не хорошо.

Станным образом смешались – город Хабаровск, соседи, сегодняшние встречи на улице, в баре, в гостинице; затем разговор с Сашей-соседом обо всем – умный, неординарный человек, много понимающий, еще больше осознающий – сила и основа нации, как и моя Лена, устоявшая во всем.

Сегодня в городе говорил с людьми, которые умны, и прежде я думал о них, но теперь я вижу, они менее напряжены, чем люди в столице, просто у них здесь меньше информации извне, а потому меньше приходится решать новых задач, ситуация стабильнее в провинции. Я себя чувствую сейчас здесь сильным, сильнее других, а в Москве первое время я дергался оттого, что был слабее, точнее недостаточно сильнее окружающих. Мне лучше всегда себя чувствовать чуть-чуть сильнее всех. Еще в разговоре с Сашей я пришел к мысли о том, что сейчас у власти в России – либералы. К власти должны прийти консерваторы – в этом спасение нации.

А еще я сегодня встретил Ирину – героиню романа «Ирина» – чувственные губы, изначально обволакивающие любой предмет, который попадает к ним, огромный рот, ленивая стать, вечная слегка замедленность. Реальная Ирина в романе – более разнообразна и полифонична, более мобильна, более резка и реактивна, а потому и более глубока, решая принять участие в чем-либо или с кем-либо. Ирина в романе более жива. Вряд ли мне еще нужно о чем-либо говорить с прототипом, скорее всего она скучна.

Нарисовал стрелку в тетради, в которую я записываю это повествование. И вспомнил страницы дневника Федора Достоевского, он рисовал церковные, устремленные вверх остриями церковные арки и купола, и черные Достоевские чернила, и резкий Достоевский почерк. Я многое до сего дня видел в жизни, я сильно привязан к истории жизни: Межиров, его холодные юные руки, задница Солженицына в коричневых, обмятых штанах, наконец, я видел и знал многих сильных своих современников.

Еще мы с Сашей сегодня согласились с тем, что в стране растет коррупция, финансово-промышленные группы замкнуты на власть коррупции; и затем через депутатство и протекционизм представители таких групп будут входить во власть. И это уже неизбежность, которую невозможно обойти, если играть в игру больших денег, большого влияния, большой

власти. И в этой драме выжить, защититься, научиться нападать, можно только будучи умнее обстоятельств и привходящих условий, и других навязываемых извне предложений. Это необходимо, чтобы обезопаситься от давления, насилия, использования и манипулирования. Наконец, в профессиональной сфере выйти на конкурентный уровень можно и удастся за счет нестандартных решений, за счет неординарных личностных устремлений и подходов. Только теперь мне придется к нестандартности решений и идей добавить знания и, главное, понимание политики на всех уровнях власти.

В этом городе у меня было много людей, которые меня знали, еще больше людей знали обо мне. Я – легенда Хабаровска, звезда восточного побережья России – и это было хорошо, хотя и стоило многих сил. Я пишу сейчас об этом наиболее трезво и реально, нежели когда-либо. И начинал я в Хабаровске так же нелепо и одиноко, также из личной жажды к развитию, так же я чувствовал, что вокруг меня люди, которые меня не любят, не хотят помогать, которые мне враждебны зачастую. То же и в Москве сейчас происходит со мной.

Хабаровск – как развитие воли, а также, становление семьи, укрепление семьи, рождение детей, профессионализация и укрепление писательской жажды.

Мое блядство, – возможно, очень возможно, – было не более чем блядством?!

7 июня, 1994 г.

Сегодня был на улице с детьми, зашел в местный Дом моды. Эти художники и модельеры в местном Доме моды – такие же, как и местные потребители, с такими же вкусами. Т. е. здесь свои герои, свои лидеры, свои гении, свои артисты, свои художники, свои отдельные вкусы.

Я с трудом представляю, как я здесь прожил столько лет. Возможно еще и потому довольно спокойно, что на протяжении десятилетий внешние потребительские отличия по России были невелики. Теперь же и я ухожу в другой социальный слой, и разница (как и представления) между наиболее обеспеченным средним слоем в столице и в провинциальном городе усугубляется.

Да, путешествие уже началось из России в Россию, из одной в другую Россию. Только сегодня!

Был свидетелем, как у двух бродяг и попрошайек молодые стервецы отобрали деньги. Пострадавшие не сопротивлялись, они уже давно мертвы и обречены на поражение до последнего мгновения поражения.

И во всем городе сегодня нет света – кошмар и бесчинство экономического хаоса. Страну могут вытянуть только люди с огромными амбициями, огромной жаждой власти, которую можно удовлетворить только за счет расширения влияния, т. е. границ власти. Т. е. нужны во главе страны люди масштабные, с неограниченными потребностями. Кстати, только тогда можно будет надеяться на оживление Дальнего Востока и его развитие в недрах России.

На вокзале не работает совместное предприятие «Евразия», которое в начале девяностых годов возило пассажиров из Хабаровска во Владивосток с невиданным комфортом – отдельными купе, душем, едой, телевизором и пр.

О зажиме свободы предпринимательства свидетельствует и отсутствие спиртного в коммерческих палатках.

Впечатление, что жизнь покинула Хабаровск, нищета коснулась этого города своим именем. Город гаснет сильно и навсегда.

8 июня, 1994 г.

Отъезд все ближе. Сегодня просмотрел свой архив. Я забыл об объемах проделанной работы. Записные книжки за многие годы, кипы черновиков, заявки на фильмы, и наблюдения, мысли и мысли, наброски и рассуждения.

И ощущение бессилия вновь пришло в душу. Я на своем пути не встретил ни одного человека, который помог бы мне.

Причина проста. Ранее я еще испытывал себя на предмет графоманства. Но графоманствовать пятнадцать лет подряд нельзя. Неумение себя предлагать – это, конечно, есть, но не главная это причина, лишь штрих. Основная причина двояка: я не принимаю никакой помощи, потому что изнутри на уровне, – на котором не принимаются в расчет мои человеческие слабости, – я никого не принимаю в расчет, поскольку не вижу равных, точнее сравнимых. Видимо время моего открытого писательства только подошло. Только сейчас у меня проявилось, оформилось и утвердилось чувство безапелляционной уверенности в уникальности своей языковой работы.

К слову, я столько уже понаписал, что могу себе позволить писать как хочу, и делать со словом, что могу.

И надо всегда заканчивать начатое, потому как очень быстро развиваешься, и удачное сегодня, кажется странным завтра, ужасным через неделю, но через пять лет отличным.

Я – писатель, но со странным становлением. Взрыв в начале пути, череда откровений, затем затянувшееся становление, растянутое во времени и пространстве. Теперь я уверился окончательно в себе, в своем назначении.

Странно, вовсе не пишу о своем путешествии. Возможно потому, что еще нет путешествия, как факта.

Должен тронуться состав, дернуться вагоны, люди упрутся в окна, растянутся на полках, и вперед – из России в Россию.

А пока на столе красная салфетка, рядом с ней красная свеча, и приемничек что-то бурчит не на русском. Славное умненькое время.

Проезжал по городу – удивительное и невзрачное зрелище, нет оживления, нет бурной деятельности, впечатление, что мертвечина вошла в город, люди обречены были смириться и склонить головы, – верно они не справились с напором чужих эмоций.

Один из руководителей ДВЖД сообщил, что на железной дороге идет возврат к методам и структуре руководства и управления, бывших до 1985 года.

Вычитал в одном из своих дневников фразу: «Снег шел с силой сплошного удара». И там же предсказание о гражданских войнах, которые грянут в конце века. Предсказание от 1983 года, но не ясно по какому поводу.

Возможно, всплеск мой, проявление наития в языковой сфере уже минул. Чтобы пойти дальше, надо все услышанное переработать. А этого я не сделал еще.

9 июня, 1994 г.

Я в этом городе уже не жил, но теперь окончательно не живу. Но душа останется!

Новый факт – у Л. был от меня ребенок, она сделала аборт, причем на шестом месяце – едва не умерла/«сдохла». В результате бросила петъ и возможно рожать. В этом городе будет жить женщина, которая могла стать матерью моего сына. Идиотка, или потрясающе умная женщина, которая оберегла мое будущее, мое развитие.

Сильно я сегодня говорил с милыми и близкими сердцу людьми, славно мне было с ними, это я знаю. Теперь они будут ходить по этим улицам без меня. Л. – это была громадная придуманная любовь. Но она крайне умна, хотя и безвольна в творческом плане.

Проехал центр. И нет ничего более в этом городе, пусто.

Р. – остался, как и всегда был, умен. Но ему не хватает напора и увлеченности, фанатизма. Ничего я не видел в этом городе сегодня, разве что купил шарфик на горло – давно хотел.

Вечером гулял с Л. по набережной – удивительное место, чрезвычайно энергетическое и спокойно-уютное. Это на всю жизнь, как и заходящее солнце над Амуром, – чудо!

Какое-то странное затишье в городе – даже движение по Амуру какое-то тухлое.

Путешествие начинается, первый раздел – Хабаровск, второй – Владивосток.

Была у нас в детстве игра в города. Вот я сейчас играю в города, в судьбы, в людей. Я играю в игру такую, которая называется любовь к жизни, к себе, к человеку.

Л. – это фантастическая женщина. Ее аборт – это третий в моей жизни.

А потому Л. – это путешествие.

Путешествие по России – это из себя к себе, это – время, растянутое, будто пространство.

10 июня, 1994 г.

Хабаровск – город чувственности. Пышущие здоровьем бабы и мужики. Накал страсти переплескивает все края. Короткие юбки, под которыми чаще короткие, но не менее соблазнительные ноги, над которыми задницы самок, которые ждут спокойно и уверенно своей участи.

Чувственность здесь ничем не ограничена. Феодалные, общинные нравы провинциального городка уже почти рухнули, а сдерживающих начал новой цивилизации еще нет. В Хабаровске начинается сексуальная революция. В Хабаровске начинается чувственная революция. Возможно, нечто похожее переживает сейчас вся провинциальная Россия, чуть отставая от Москвы, где уже сформировались основы западной цивилизации с ее принципами целесообразности.

Л. сказала, что, «у тебя все получится, потому что тебя многие любят».

Л. – сильное создание, удивительно чуткое, удивительно тактичное.

Перед отъездом во Владивосток, зашел на хабаровскую студию ТВ, где я отработал пять лет. Во-первых, не пришел на встречу Вл. Каменев, тот, который пригласил меня в Хабаровск; во-вторых, по отношению к каждому здесь у меня в памяти отрицательные эмоции, нет ни одного человека, по отношению к которому у меня в памяти было бы доброе. Разве что оператор-кореец и Сережа З., мой крестник, но и он меня однажды надул.

Хабаровск – это не город, это – миф о городе, и в нем я был участником и героем несколько лет. Три года прошло, как я сошел с экрана, но до сих пор меня на улице и в общественных местах узнают чужие люди.

Вероятно, в общественном представлении о свободном человеке, я превратился в такой типаж, даже архетип свободного человека. И это запомнилось, т. е. явление, не человек, который остался, как носитель явления. Важно понять еще и то, что эти люди не могли запомнить меня, поскольку они не способны к этому, они не умеют столь детально видеть человека. Они не могут вычленить отдельного человека в связи со связями, и окружением. Но они могут запомнить типаж и явление, т. е. я сделал нечто на духовном уровне, причем уровне типичном для общественного сознания. Потому остался в памяти.

Я в напряжении – после многих лет перерыва – носом кровь.

Но самая большая беда – бездуховность детей. Отсюда их безалаберность, бесшабашность, суетливость, праздность и потребительство.

Вяземский. Первая станция после Хабаровска, по дороге во Владивосток. Много вареников и другой снеди, которая выносится к останавливающимся поездам местными жителями, в основном людьми без определенных занятий. Впечатление – сытая нищета. Вареники с капустой, картошкой, манты с мясом, вареная картошка, молоко в бутылках, заткнутых куском свернутой газеты, пиво. Бутылка пива – 1200 рублей, манты – 400 руб./штука, огурцы – 150 рублей/штука, зелень – 250 рублей/пучок. Продают все это разбитные, пропахшие жизнью бабы и бабенки.

Вспомнилось, как после истового и радостного траханья с Р., мы вышли в Вяземском прогуляться по перрону; она в джинсовой юбчонке, длинные и тонкие ноги, туфли на длинных каблуках, мы шли за варениками по перрону, а Р. говорила о странном ощущении обнаженности. В тот момент эти ноги, эта Р., эти слова – нравились, хотя и было все это глупым чрезвычайно, как, собственно, и все исходящее от Р.

А ведь по словам Л., именно на следующий день после ее знакомства Р., точнее после того как я привел Р. в театр к Л., Л. пошла делать аборт.

Угольная. На фасаде серебристого здания вокзала два угольщика-шахтера, маленькие, непропорциональные, обреченные фигуры.

Уссурийск. Ни одной детали, которая могла бы отличить эту станцию от тысяч других таких же размеров.

Задача путешествия в том, чтобы на дороге, на каждой станции, в каждом местечке найти детали и особенности, выделяющие эту точку на карте от других таких же.

Россия в каждом проявлении – особенная или безлика. Это мой вопрос в этом путешествии, которое возможно только в преддверии будущего пути, который требует напряжения всех сил, чтобы вытолкнуть на свой уровень своих детей и жену. Да, конечно, я умру в жизни, но никогда после смерти.

11 июня, 1994 г.

Владивосток. Кругом города море. Внутри города море. Фантастический пейзаж. Внутри – сопки, обилие машин, старых и стильных, безмерно грязные дома, оживление, порт, кораблики в центре города, мачты – как декор улиц и городской панорамы, разнообразие городского пейзажа. Наконец история, которой город может не гордиться, поскольку история сама гордится этим городом-портом на востоке страны.

Ветром сдуло пену лет. Ровно стало на кладбище времени. Два человека встречаются на распутье двух дорог, и встав, на ведущую в ад, вставший говорит, «мне там самому места не хватает – бери себе путь в рай».

Затем они заспорили уже лет через двести, встретившись во Владивостоке, городе, которого не было прежде, и один говорит другому, – «ад – это развитие внешней, материальной стороны жизни, а рай – развитие духовной стороны жизни, невидимой».

Всем, поставившим на ад, везет в жизни, всем, поставившим на рай, – не везет в материальной жизни. Возможно, мир изменился не в лучшую сторону. Но это не важно, поскольку возможен средний вариант.

Да.

Ад – это не смерть, не мучения, это – материальное продолжение жизни, грубо материальное, зримое.

Рай – это не смерть, не наслаждения, это – нематериальное продолжение жизни, незримое, тонкое, энергетическое.

Владивосток – это ад. Жители этого города поголовно попадают в ад, продолжая свою земную жизнь в образе, в виде материальной грубой субстанции. Во Владивостоке нет людей, есть только продолжение людей, уже давно умерших; Владивосток – это город давно умерших, здесь нет живущих, здесь есть умершие и умирающие. И пушка в 12.00 по полудни измеряет напор жизни.

12 июня, 1994 г.

В центре Владивостока появилась гостиница «Версаль» – старинное стильное здание, отреставрированное и осовремененное. А на берегу залива Петра Великого дельфинарий, больше напоминающий каземат, но в воде, среди ржавых стен; в нем откормленные, глупеющие дельфины, выпрашивающие рыбу. Белые туши, плоские хвосты, темные прерывистые полосы над хребтами. Дельфины с внимательными поросячьими глазами, белухи с выпуклостями на передней части головы. Дельфины любят выходить к поверхности. Впечатления нет. Нет особенного впечатления и от посещения океанариума, и от осмотра змей с птицами, от крокодилов, обезьян и людей, разгуливающих от клетки к клетке. Впрочем, людей я не видел вовсе. Я только рассмотрел паука-птицееда и красно-синего попугая в клетке, одинокого, гордого и печального, совсем не похожего на попугая. И, пожалуй все. За час там ни одной сторонней, ассоциативной мысли не появилось. Мысли-перевертыши, как знак силы.

Пишу в поезде. Вдруг въехали в туннель, темно. Такие дыры пробивали заключенные – и мерли будто мухи.

Владивосток – блестящий город: образом, историей, названием, профилем, географией, а главное, морем. Отличная историческая часть. В то же время, обилие бритых затылков, грубые

нравы, деградировавшие типажи. И все запущено, грязно. Не разработано и не оформлено, бес-толково. Кроме сна – есть только сон. Владивосток – это сон, который никак не кончится. Этот город – теплый, портовый, с отличной рекреационной зоной вокруг города, наконец, особым менталитетом людей, привыкших к ощущению бесконечности пространства, в котором границы моря и неба исчезли, и уже не ясно, когда будет земля и зачем она нужна. Отсюда некий налет, особый флер любого портового города, эдакий романтизм, который в людях, в облике города, в нравах. А еще масштабность и открытость. Обучение дельфинов искусству убивать – это тоже романтизм, как и любовь к городу, как и неразделенность флота и города. Очевидно, что Владивосток нужно превратить в третью столицу России после Москвы и СПб. Нужно сделать Владивосток окном в Азию. База есть, ее лишь надо растормошить и раскрутить, разбросать, чтобы расхлестанный город превратился в мощнейший центр страны на востоке, по направлению к Азии и к западному побережью США.

Более того, новый правитель страны, который сумеет выйти в Азию, сумеет укрепить место России в Азии, найдет там ее место и определит влияние, такой правитель войдет в историю России. И такой акт безусловно будет силен.

13 июня, 1994 г.

Аня и Ася – будут знать английский и восточные языки, китайский и японский. Им надо дать оттиск страны, дать дух Востока, и его силу показать через самые разные мелочи. Они будут читать восточные книги, смотреть восточные фильмы, ходить на восточные зрелища и в музеи, обедать в восточных ресторанах. Я им привью вкус к востоку. Они не напрасно родились на Дальнем Востоке, это их направление, но только через познание европейской цивилизации.

Пустой радиоэфир. КВ, УКВ, СВ – все пусто, или мало и крайне хило. Нельзя России уходить из радиоэфира на КВ, т. е. с волн, которые не требуют ретранслятора, а требуют одного передатчика из одного места.

Отличное время года. Начало лета. Еще свежо, не очень пыльно, зелено и приятно. Природа будет нам салютовать по всей дороге!

Вернулись в Хабаровск. Ничего интересного в этом городе. Повторяется все и повторяется. Столица – это селекция нации. Это и есть норма. В Хабаровске практически нет интересных лиц, нет хороших ног, нет конкуренции в работе, в борьбе за мужчину или женщину, в борьбе полов. Поэтому расхристанность и вольность – как норма жизни. Но по другому не может и быть. А появляющиеся лучшие, которые заходят за грань здешней нормы, выбрасываются из здешней жизни, либо опускаются ниже нормы. И лучшие люди, остающиеся здесь, слабеют, скрывая свою слабость.

Встречаюсь, говорю о себе, о людях, и вижу, что я сильнее в деталях. А ведь долгое время все было ровно. И разница почувствовалась только после рывка и прыжка.

Сегодня едва не задавили Аську. Тоже было и в субботу. С ней внимательнее. Она менее всех под защитой ангела-хранителя. Или более всех. Она менее гармонична, нежели Анька (или более), хотя и более в себе. Надо усилить круговую оборону семьи.

Мы стояли на крыльце. С. курил, я прощался, и думал о чем-то своем. Тепло, на небе сумрачно, за спиной грязный дом. На первом этаже квартира, в которой он живет много лет с глупой собачкой белого цвета, полуслепой и тупой, кусачей, с двумя кошками, коллекцией кукол. Он и сам был лучшим кукловодом города. Но дочь его оставалась впереди с тех пор, когда начала учить кукол ходить. Делала она это молча и страстно, казалось, с нелепым упорством, но главное, с упоением и радостью. Он ударил дочь только раз, когда она сожгла куклу в мусорном ведре. Ударив, он сломал ей руку и ногу, сам после этого попал в ту же больницу, на другой этаж с диагнозом – инфаркт. Окончательно вылечился сам – иглотерапией. Потом взялся за дочь. Странно, что только после больницы дочь окончательно признала в нем отца и начала слушаться беспрекословно и точно, а главное, начала верить в него. Так они и жили с верой друг в друга, пока им не встретился я. После этой встречи они разошлись почти до

конца жизни отца, но эта жизнь была почти бесконечна. Но бесконечная жизнь селективна до абсолюта, который возможен только в жестокой среде, в которую вхожу я, но не захотел он.

14 июня, 1994 г.

Я стал писучим.

Да, я испытываю глубокое удовлетворение от общения с людьми, которые есть мои дети. Но я могу, могу без них жить, и ничего они не определяют в моей внутренней истории. Да.

15 июня, 1994 г.

Был очень короткий дождь. Буквально за час до отъезда. Нам везет. Это – хорошая примета. Дальний Восток прощается с нами. Мы покинули ДВ. Мы уехали в другую часть России.

Все же ДВ агрессивен для белого человека; белый человек не способен здесь жить, поскольку здесь агрессивная для него среда обитания. Это я знал всегда. Я научился понимать особенность и важность еды, воды, впечатлений, которые должны быть специфичны; только тогда здесь можно выжить. Я прошел здесь огромный мороз (до 50 градусов по Цельсию), я научился обтираться снегом на морозе. Я научился относиться нормально к ветру, к перекосам в погоде, но я не сумел постичь ДВ-менталитет. Видимо, это дело детей. По крайней мере, я понял будущее своих детей. Они станут специалистами по Азии. Страны выберем позже, но, видимо, это будут Япония и Китай.

Прощался с Хабаровском. Напряжение в голове, душе и членах. Я останусь с ДВ, но оттуда, а не отсюда. И я еще буду много с ДВ работать.

Едем.

Сопки – изящная природная игра. Нежное творчество, легкое упражнение с ветром, с землей, с лесом, с травой. Одновременно, сопка ласкает глаз. Легкое и свежее время года. Трава зеленая, цветы красивые, нежность во всем. Обилие березок, тонких и первозданных в пустыни, почти нет жилья. Пусто. Всюду пейзаж удерживается сопками, которые подобно рамке удерживают картину пейзажа, придают ему изящество.

Много туннелей – за три часа – пять туннелей. Там темно, там солдаты перед и после, там время истории напоминает о трудах праведных тех людей, что пробили скалы много десятилетий назад. Ну и добрая им память.

И обидно! Поезд «Россия» – престиж России. Самый длинный железнодорожный маршрут в мире – «Владивосток-Москва»: 70 станций, 6,5 суток пути, от Японского моря в центр европейской части России, 8300 км, Европа-Азия, территории – Приморский край, Хабаровский край, Амурская, Читинская области, Бурятия, Иркутская, Красноярская, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Тюменская, Свердловская, Пермская области, Удмуртия, Кировская, Костромская, Ярославская, Московская области – 18 краев, республик и областей. Это крупнейшие регионы, которые составляют мощь державы. И мы проезжаем через основные города страны.

Железные дороги России в упадке. Российский железнодорожный маршрут № 1 – жалкое зрелище. Я не говорю о состоянии вагонов и уровне комфорта. Самое мрачное впечатление производит уровень обслуживания. Только чай и кипяток – всю дорогу. Сменить белье нельзя, заказать еду, напитки, газету – нельзя. Сажают зайцев даже в наш вагон СВ.

И мертвый эфир. На КВ только «Голос Америки». Россия должна быть в радиоэфире на всех волнах. Нельзя жалеть денег, нельзя допустить информационного изоляционизма. Недостаточность перетекания информации между регионами ведет к информационному изоляционизму, затем к политическому и экономическому сепаратизму.

Биробиджан, Бира. Проехали.

Облучье. Барский вокзал, с колоннами, обширными пространствами внутри, со звездами на фасаде. В Облучье долгие годы было очень хорошее пиво, которое варил немец-пивовар, который затем умер, и пиво резко поплошало и умерло. Я был там через десять лет после смерти. Немцем гордились и рассказывали о нем так, будто он только вчера сварил свое послед-

нее пиво. Нужно постоянно развивать в человеке любовь и пристрастие к маленьким радостям, чтобы населять страну в самых ее глухих углах.

Архара. Это уже Амурская область, это граница Хабаровского края и Амурской области. Уже на час меньше по сравнению с Хабаровским краем.

Покупал снедь: 1000 руб. – кулек вареной с салом картошки, 400 руб. – два соленых огурца, 400 руб. – пучок укропа, 1500 руб. – буханка хлеба. Перед барачным зданием деревянного вокзала – бюст Ленина.

Бурея – название, как и многие предыдущие, исконное. Названия городов, населенных пунктов ДВ, в отличие от остальной России, остались нетронутыми – Хабаровск, Владивосток, Магадан, Якутск, Ерофей Павлович, Облучье, Архара, Вяземское, Могзон.

Ночь настала. Первые сутки дороги. Ночь – как темный, старинный, в патине серебра – крест. Надень его – возьмешь новую силу.

Бедная моя Россия.

Нигде ничего не строится, нигде не обновляется. Не видно оживления, не видно государственного запала, который бы разбередил народ на новые дела. Россия – стара. Продолжается проживание, проедание, изнашивание накопленного.

Пионы в купе было подвяли, но уже к концу первых суток распустятся, оживут, похорошеют. Лена вспомнила, что у ее отца было на одном кусте до шестидесяти пионов. И продавать пионы они начали только после смерти отца, до того раздавали.

16 июня, 1994 г.

Разбудились.

Природа чисто русская. Всюду сосны и березы – от Хабаровска. Видимо, одно из объединяющих начал России – береза. Туман наползает на сопки, которых стало совсем мало. Свежесть окружающего мира необычайная.

С утра дождь, капли бегут по стеклу, наползает друг на друга. Дождь примиряет. Дорога в лужах. Дождь гримирует.

Эфир молчит. Чудовищно. Доигрались в провозглашение экономической самостоятельности. Люди теряют ощущение цельности страны.

Сковородино. Две собаки побрели к пустой консервной банке, понюхали, побрели. Одна маленькая, другая повыше позади. Суетные люди встречаются и встречаются. Вокруг города сопки с лесом, тепло-зеленые и крепкие, хотя и маленькие. Едем все еще по Дальнему Востоку.

Ася, стихотворение:

«Шерстяное одеяло.
Золотая конфета.
Черные лосины.
Красное одеяло».

Когда Ася была маленькая и смотрела в окно из автобуса, ей казалось, что деревья убегают от нее.

Уруша. Безглазый серебряный Ленин с привычно протянутой вперед правой рукой. Старый задрипанный деревянный вокзал на горке с парадной лестницей в три длинных марша и перилами. Все ветхое и едва живое.

Был туман на сопках, теперь солнце на сопках. И все та же свежесть и грязь на земле от продолжительных дождей.

Нет в России политика или движения, которые бы объяснили, зачем сейчас России такая громадная земля. Отсюда и опустошение, ничтожность и скука среди людей. Россия все еще громадна, несмотря на царящую в недрах власти тоску, глупость и хаос. России нужны новые

идеи. Только идеи могут создать условия, в которых нация и страна способны к самовоспроизводству. Вновь страна нуждается в объединении, в моде на самое себя у самой себя. И ни в коем случае нельзя доверять большую власть москвичам, которые глазами и животом в Европе.

Беда правительства, созданного Борисом Ельциным, – москвичизм, основанный на западничестве, исключительности, словизме и провинциальности. Свежая кадровая кровь, свежие идеи – оживят Россию. Москвичи – это потребительство, хотя на хорошей культурологической и эстетизированной основе.

Ерофей Павлович. Ничего примечательного. Зимой разве что мороз добавляется. После станции, по обе стороны от железнодорожного пути, – мохнатые страшные пихты, с косматыми ветвями.

Амазар. Это уже Читинская область. Вареники с картошкой на сале – 1000 руб./10 шт., 1500 руб. – литровая банка томатного сока. Накормил пса варениками, белесый пес с облезлой шкурой.

До станции сопки, река по камушкам, горелый лес, после – ослепительные белые березы. Деревянные дома, поленицы, мотоциклы и новый пешеходный мост через железнодорожные пути.

Россия нуждается в глобализме. А последние веяния последних лет низводят Россию до уровня европейской страны с куцей силой, сплошь преувеличенной историей и ограниченным пространством. Европе нужна всеохватность в силу малости стран, куцести ресурсной, мозговой. А Россия – это целая планета, мы сами всеохватны, хотя конечно, нам нужна соединенность со всем миром, но партнерство должно строиться не по типу Европы: страна – страна, а по принципу: Россия – Европа, Россия – планета. И этот принцип должен распространиться на все сферы и области человеческого духа и направленной жизнедеятельности. Россия – амбициозна. В этом смысл развития и становления.

Могоча. Вокруг сопки и деревня. Удивительно глупый барельеф, посвященный ВОВ, – вороватое желтое выступающее лицо с носом Дуремара, нахлобученной на лоб зеленой каской и выступом автомата. На маленьком базарчике пусто – только спят на прилавках двое пьяных молодцов.

Зилово. Портрет С.Лазо. Думал, его здесь сожгли, приготовил фотоаппарат для еще одного снимка, но нет, он здесь выступал на каком-то дурацком митинге в 1918 году, т. е. еще когда был жив.

Поселок весь в низине, железная дорога наверху, к зданию вокзала как бы переходы от насыпи. Почерневшие от времени и непогоды дома, широкие улицы, вокруг сосны.

Чернышевск-Забайкальский. Бюст Чернышевского, косматый радикал в длинном пиджаке, под серебряной краской, руки при деле. Здание вокзала стильное, а-ля Корбюзье 30-х годов.

Я теперь вспоминаю детские ощущения, когда мимо проносились поезда дальнего следования, хотелось быть там внутри, пожить той жизнью.

Я всю жизнь боролся с мужчиной в себе. Только в экстремальных ситуациях я сбрасывал шелуху воспитания и обращался к себе, и мужчина всегда побеждал. Несмотря на воспитание, на борьбу десятилетнюю, моя мужская сила чрезвычайно велика.

Ночь. Звезд нет. Горизонта нет. Небо чуть светлеет. Несется состав к заветной мечте творения. Нигде, только в поезде время не бежит так скоро и так неудержимо. Чай с бальзамом, дети спят. Покойно. Но нельзя все решить навсегда. Но я с детства выбрал вариант «спокойной старости».

17 июня, 1994 г.

Дарасун. Милиционер на пустом перроне. Чистый вокзал. Хорошая автодорога после поселка. Уникального простора пейзажи вокруг поселка. Река иногда. И как-то странно чисто. Земля ухожена, вспахана, нет нигде мусора, постриженные тополя. Но главное, хорошие шос-

сейные дороги. Очевидно, местность более цивилизованная, в отличие от всего, виденного прежде. Деревни чаще. И деревни ладные, с крепкими избами, крепкими заборами. На избах красивые яркие наличники. Деталь: даже проволочная ограда вокруг железной дороги не повреждена. И вновь огромное количество пустых площадей и территорий.

Нужно, как и 100 лет назад, вновь проводить планомерную колонизацию ДВ за счет беженцев из стран СНГ. Но для этого нужна ясная политика использования этих беженцев, куда, как, зачем. Наконец, нужна статистика кадровых возможностей беженцев, их кадровые ресурсы. Т. е. беженцев надо превратить в выгодный для России фактор.

Ночью проехали **Приисковую**. От нее рукой подать до Нерчинских рудников, где сидели декабристы, которых, конечно, надо было перебить, а не превращать в дурацкую легенду. Хотя, конечно, людям моего типа и уровня в начале двадцатого века царизм вовсе не казался хорошим.

Эфир стал богаче и на КВ, и на ДВ, и СВ. Но на КВ нет российских станций. Появился – ближе к Чите – местный радиоканал на ДВ и СВ.

Прощаясь с ДВ и севером, вновь вспомнил с огромным сожалением о биологическом человеке, каковым является коренной житель русского крайнего Севера и ДВ. Это особый вид человечества, никак и никем на уровне общественного сознания не сформулированный.

В Европе величественно строили, противопоставляясь, или сравниваясь с величием природы. А на Севере, на ДВ не надо строить, здесь человек-абориген – сам часть этого природного величия, природного эпоса.

У северян надо учиться, надо их изучать, надо их познать, пока они еще живы и легки на подъем. Надо понять их степень и возможности близости и родства с природой. Как, почему, за счет чего?! Величие окружающей их природы настолько очевидно. Но будучи частью этого величия, этого эпического природного величия, они должны быть с той же очевидностью велики и эпичны. Это должно быть очевидно.

Чита. Настоящая электричка, в тамбуре которой королевский дог в наморднике. Семь утра, но необычное оживление, людские потоки. Наших вагонных соседей встречали товарищи-северокорейцы. Нищие, но гордые. Другие соседи – спортсмены дебильного вида – вышли еще раньше. В пути у северокорейцев и спортсменов были одинаково хорошо заправлены постели.

Природа у Читы уже попроще, сопки поменьше, деревья помельче, леса пожизе, но просторы хороши и определенно романтичны. Выбор в киосках попроще и победнее. На фасаде вокзала текст о награждении Читинской области орденом Ленина в год моего рождения.

Могзон. Ничего. Людям даже лень продавать еду. Деревянная водочка из черного дерева. Яркое солнце. Уже дорога приобрела качество дороги, свой распорядок. Все ближе к границе Бурятии.

Ася видела на лугу, «стаю коров, которую охранял человек с огромными зелеными ушами, которые свисали до пояса; человек даже не охранял, а просто был с коровами».

Петровский завод. 1789 год. Здесь отбывали срок декабристы, т. е. именно здесь. Здесь металлургическое производство. Здесь жалкие, нищие барельефы декабристов в ряд и тщедушный Ленин в неизменной статуе. Обветшавшее здание вокзала. Здесь люди способные, больше чем где-либо прежде продавалось здесь еды. 10 вареников – 800 руб., 0.5 кг. соленых огурцов – 1500 руб., салат из кислой капусты – 500 руб., пучок лука – 500 руб.

Кончается ДВ. Уже начинается Бурятия. Пространства меньше. Уже города чаще, земля освоеннее. Сопки перерождаются в холмы. Места становятся лиричнее и тоньше. Взгляд начинает раздражаться подобно коже, которую испачкали.

Я уже немного устал от смены мест. География меня пугает. Я гибну в этих пространствах, которые тайным изгибом чувства напомнили мне виртуальные ласковые изгибы ляжки давно забытой украинской танцовщицы. Значит, еще я жив, еще хочу жить, еще умею хотеть,

еще не умерли мои желания. Еще меня не поглотила дорога, еще меня не раздавили просторы страны, которая остается гигантской и чудовищной для завистников – всей планеты. Я еще бегу вперед за поездом, который раскрывает пространства и судьбы, который ничего не оставляет позади себя, поскольку только движение имеет смысл.

Боль от потери выбора. Нет ДВ в нашей жизни. Все. Я с трудом оттуда вылезаю, я там слегка успел. Там было хорошо и вольно. Чуть меньше теперь воли в моей жизни, чуть больше смерти, чуть меньше жизни.

Улан-Удэ. Бурятия. Вокзал похож на кинотеатр. Гуляют буряты. Жарко. Южный город. Оживление на вокзале. Одеты кое-как. Лица кое-какие. Пьяный, грязный продавец мороженого.

Дорога уже превратилась в закон. Я уже не хочу останавливаться, я уже хочу вперед, я уже не могу стоять, я уже не терплю остановку, уже нет сил у меня останавливаться.

Уровень цивилизации здесь довольно высок, выше чем на ДВ. Здесь люди живут уже постоянно. Ухоженная земля, ухоженные дома. Природа иная. Кончился ДВ. Началось Забайкалье. Скоро Байкал. Лирика в природе, эпоса почти не осталось. Нежная трава. Природа всюду хороша, где нет человека. Здесь просто жарко. Трава выжженная. Юг. Лес преимущественно лиственный. Обстановка мягче, можно жить спокойнее, для белого человека здесь уютнее.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.